

Явдат Хасанович Ильясов

Башня молчания

Еще одна повесть о трудной судьбе, удачах и неудачах злосчастливого шейха, поэта, ученого Абуль-Фатха Омара Хайяма, да не коснется его злословие недругов и друзей...

КНИГА ПЕЧАЛИ

В этом мире ты мудрым сливешь, – ну и что?
Всем пример и совет подаешь, – ну и что?
До ста лет ты намерен прожить? Допускаю,
Может быть, до двухсот проживешь. Ну и что?¹

– ...Саксаул? – неуверенно сказал проводник каравана...

– Да, пожалуй. Два сухих ствола сплелись. Ветвей мелких нет, их ветром снесло. Взгляни, отсюда – вроде голой женщины.

– Бывают же на свете чудеса! Сколько хожу с караванами, ничего такого не попадалось...

Ну до чего же похожа черная коряга на маленькую нагую женщину. Будто, закрыв глаза и склонив голову, она, замирая, слушает медный звон каравана. Даже волосы есть у нее, густые, пышные, – видно, какой-то суеверный проезжий набросил на корягу овечью шкуру. Всегда кусты у дорог увешены всякой всячиной... Дар местным духам...

И тут у Омара в голове зашумело, ноги затряслись. К горлу из груди подкатился и перекрыл дыхание тяжелый черный камень. Коряга... вздохнула, переступила с ноги на ногу – и... открыла глаза. И увидел Омар, что вовсе это не коряга, стоящая торчком, а именно женщина: нагая маленькая женщина.

– Ты... кто? – ошеломленный, не зная, что сказать, спросил Омар по-персидски и невольно протянул к ней руку.

В коротком испуганном взгляде он уловил крохотную искру любопытства к себе. Она, ощерив острые клыки, хрипло вскрикнула, мгновенно повернулась – и метнулась вниз, под бархан.

– Она... примерещилась мне? – пробормотал потерянно Омар, когда видение исчезло на юге, за гребнем далекого бархана.

– Не примерещилось. Я тоже видел, и все. Это нас-нас – пустынная дикая женщина. Слыхал?

– Слыхал. Но думал – сказка.

– Ну, теперь ты увидел своими глазами. Ты, братец, постарайся о ней забыть. Не то всю жизнь будешь болеть.

Он назвал ее, вместо грубой нас-нас, – Занге-Сахро, колокольчиком пустыни.

Мечта?

У каждого есть своя несбыточная Занге-Сахро...

Как давно это было! Двадцать четыре года назад в пору, когда юный Омар, покинув родной Нишапур, спешил за счастьем в славный Самарканд.

Но где оно, счастье?

¹ Стихи Омара Хайяма даны в переводах О. Румера и И. Тхоржевского

«Мир не знал человека более одаренного, чем Аристотель.

Его глубочайший разум охватил и свел в единый круг все доступные в древности знания. Свои речи в Ликейской школе в Афинах он собрал в ста пятидесяти томах, среди которых – философская «Метафизика» и трактаты по логике, физике, зоологии, психологии: «Категории», «Об истолковании», «Аналитика», «Топика», «Физика», «О происхождении и уничтожении», «О небе», «О метеорологических вопросах», «История животных», «О возникновении животных», «О движении животных», «Трактат о душе».

Не обошел в них ученый также этику и поэтику, риторику и политику».

Омар с тоской положил перо.

Завидно! В душе – ноющее томление. Он горевал, что никогда не достигнет вершин, покоренных великим греком. Хотя смог бы, пожалуй. Если б жизнь сложилась по-иному...

Летнее утро в разгаре. Иволги, майны, дрозды, отзвенев на рассвете, разлетелись искать пропитание.

Встал, подошел к тахте убрать постель, сохранившую жар Эль-Мирры. Девушка ускользнула, когда у раскрытого окна заворковала первая горлица. Омар мягко встряхнул покрывало, оно обдало его ароматом, тонким, терпким и нежным. Тюрчанка теперь и вправду пахнет миррой. Купил ей в лавке благовоний.

Э, не будет убирать. Пусть. Как будто она еще здесь, вместе с ним. Лежит и с любовью смотрит, как пишет Омар.

Скорей бы так стало на самом деле! Он уже не может без нее. Пусть она молчит, но будет возле него. Не только ночью, но и днем. Утром, вечером, летом, зимой. Всегда. Хоть на старости лет он обретет утешение.

Нужно найти подходящую сваху и подослать к тетке Эль-Мирры. Нужно! Пока тайное не стало явным.

Каждый день он собирается это сделать. Руки роняет, горбится и белеет, как преступник, вызванный на допрос, в те минуты, когда глубокой ночью Эль-Мирра спускается к нему во двор по злополучной лесенке и затем, чуть посветлеет небо, осторожно поднимается по ней на свою заветную крышу.

Что будет, если кто-нибудь ее заметит? Да, пора! Пора узаконить отношения.

Неотступные размышления над нею глушили тревогу. Они, как зубная боль, о которой, впрочем, он знал лишь понаслышке, не отпускали его весь день, так что бросить все и куда-то брести, сваху искать, он просто не мог.

А ночью, вместе с Эль-Миррой, и вовсе страхи забывались. Успеется! К бесу. Какое это имеет значение? Все равно она принадлежит ему.

Это было необыкновенно. И получилось само собой. «Ох, старик! Ох, дурной старик...»

Чего он боится? Перед совестью своей чист Омар. Их свело взаимное влечение. Судьба, можно сказать. Им хорошо вдвоем, – при чем же тут какой-то дурацкий закон? Любовь на земле возникла задолго до правой веры. Она не подчиняется шариату.

Однажды Эль-Мирра явилась вся в синяках.

– Что с тобой? – у Омара губы и руки тряслись, когда он обхватил ее, чтобы прижать к груди. – Вместе с лестницей в потемках свалилась? Будь она проклята.

Тюрчанка резко отстранилась, села на тахту.

– Лестница на месте. Это тетушка меня приласкала. Ее кляни. Говорят, ты колдун: напусти на нее неизлечимую хворь!

Оказалось, тетка бьет, истязает ее, издевается над нею.

– За что?

– Ненавидит. От бедности, что ли. Хлебом меня попрекает, считает обузой. Из-за тебя, мол, не смогла выйти замуж вторично. Я у нее с тех пор, как она овдовела. Я сирота. Разве я не помогаю ей? Мозоли как у носильщика! – Эль-Мирра протянула к Омару маленькую детскую ладошку.

Он с жалостью взглянул на ее распухшие губы.
– Тетка твоя уже неизлечима. Больно бьет?
– Не жалеет, ведьма.
– Но у вас всегда тихо.
– Э! Хитра. Все делает молча. Боится соседей. И я молчу – от злости. Она тихо изводит меня, и я тихо ее извожу. Так, втихомолку, и грызем друг друга. Тетка уже рехнулась, я скоро рехнусь. Забери! Вызволь. Спаси...
Ее стихи объяснили ему многое:

Терпи и слушай. Плачь, но не перечь...
Невозмогу! Готова дом поджечь –
Иль кинуться в объятия к шайтану
И с ним на ложе адское возлечь.

...Да-а, совсем отчаялось бедное дитя. Ну, характер! Не всякая решится на подобный выход из положения. Что ж, чем я не шайтан? Сегодня же пойду сваху искать. Вот закончу эту страницу и пойду.

Омар сел за столик и вновь макнул перо в чернильницу.

Итак, Аристотель.

«И что же? Вы думаете, сограждане обожествили гения, как позже его сумасбродного ученика, царя Искандера Зулкарнайна? Гордились им? Поклонялись ему? С трепетом носили на руках?

Как бы не так! Его объявили безбожником, Аристотелю пришлось бежать. И умер он на чужбине, в Халкиде, от давней болезни желудка...»

У гениев тоже бывают желудки. Хотя, казалось бы, зачем они им? Только помеха. Дело гениев – думать. Аристотель умер шестидесяти двух лет от роду. Нам сейчас всего сорок шесть. От болезни желудка мы не умрем. Ибо нет у нас такой болезни. И не будет. Если, как говорится, соблаговолит господь. Но вот бежать... может быть, опять доведется. Как мы бегали смолоду.

Ладно, там разберемся.

Теперь – о Фердоуси. В этом ключе и будем перемежать жизнеописания ученых и поэтов. Чем поэт не ученый? Он даже выше. «Поэзия философичнее и серьезнее истории, – как писал все тот же Аристотель, – ибо поэзия говорит более об общем, история – о единичном».

Хотя, собственно, разве единичное – не часть общего?

«Абуль-Касим Фердоуси происходил из богатых дехкан – землевладельцев Туса, из большого селения Бадж, с которого можно набрать немало воинов.

Благодаря доходам с обширных пашен, садов и виноградников, он жил в достатке и не нуждался в чьей-либо денежной помощи».

– Чего никак не скажешь о нас, – усмехнулся Омар Хайям.

«Тридцать пять долгих лет писал он великую «Шахнамэ». Из детей Фердоуси имел одну дочь. Он хотел на вознаграждение за книгу справиться ей хорошее приданое. Переписчик Али Дайлам размножил рукопись в восьми экземплярах, и Фердоуси явился с нею в Газну, ко двору султана Махмуда.

Визирь Катиб, человек образованный, умный, оказал поэту покровительство, доложил о нем государю и получил для него разрешение на аудиенцию.

При Фердоуси находился его чтец Абу-Дулаф. Он огласил перед царем посвящение и вступление к «Шахнамэ», и царь как будто остался доволен ими, как и своим визирем.

Но у визиря при дворе были противники, всегда подсыпавшие пыль сомнения в чашу его достоинств. С этими-то людьми султан Махмуд и держал совет: «Что нам следует дать Фердоуси?».

И те, ничуть не заботясь о поэте и его книге и стремясь лишь досадить визирю Катибу, сказали:

– Фердоуси – еретик, сторонник безбожного толка, отвергающего учение о предопределении. И этот бейт свидетельствует о его неверии:

Вы попусту глаза не утруждайте –
Кто видел, где он, наш благой создатель?..

Как походя, легко, всего за каких-то двадцать пять минут, могут иные зачеркнуть чей-то тридцатипятилетний нечеловеческий труд! Одно утешительно: кто помнит, как звали этих злых, недалеких людей? И говорится здесь о них лишь в связи с «Шахнамэ». Имя же создателя великой книги и название ее останутся на земле навечно. Во всяком случае, до тех пор, пока на ней не переведутся люди грамотные».

– Вот обо мне после смерти никто и не вспомнит, – проворчал с досадой Омар. – Я человек, неудобный для всех времен. Я чудовище! – Он перекошил худое лицо шутовской жуткой гримасой. – Фердоуси воспеваает царей, – я их бичую. Пока на земле существует власть кого-то над кем-то, мое имя будет везде неуместно. И черт с ними! Мертвому все равно:

Никто не лицеизрел ни рая, ни геенны:
Вернулся ль кто-нибудь оттуда в мир наш тленный?..

«Султан Махмуд, как известно, был фанатик, и холодный отзыв приближенных о Фердоуси навел на него сомнения. И он выдал поэту всего двадцать тысяч. И не динаров золотых, а серебряных дирхемов.

Ничтожно мало за такую книгу! Гроши. Насмешка. Фердоуси, огорченный до крайности, пошел в баню, где выпил фруктовой воды и разделил все это серебро между банщиком и продавцом освежающего «фука»...»

Омар расхохотался, довольный. Только поэт, настоящий поэт, способен выкинуть такое! Но никак не обыватель-стяжатель, готовый за один дохлый дирхем соседа зарезать.

Мы – чудаки. Чувство причастности к странному миру необыкновенных людей развеселило и взбодрило его. И тростниковый калам быстрее побежал по бумаге, выводя на ней узорную вязь арабского письма:

«Об этом донесли Махмуду. Оскорбленный султан велел схватить поэта. Но Фердоуси укрылся в Герате, в лавке Исмаила Варрака, покойный сын которого Абу-Бекр Азраки тоже был поэтом. И находился здесь полгода, пока посланцы Махмуда, не найдя его, не вернулись обратно.

Оказавшись в безопасности, Фердоуси уехал в Табаристан на южном берегу Каспия, к правителю Шахрияру, – тот сам испытывал склонность к стихосложению и философским раздумьям и даже написал «Марзбан-намэ» – «Книгу князей». Сказал Сасанид Ануширван: «Когда господь хочет добра какому-либо народу, он дает знание его царям и царскую власть его ученым».

Шахрияр зависел от султана Махмуда, но все же не побоялся приютить опального поэта и спрятать его у себя от посторонних глаз».

– Раньше поэты и любители поэзии хоть выручали друг друга, – вздохнул Омар, уже чувствуя утомление. В плечах, склоненных над столом, начиналась тупая ноющая боль. Худо. Стареем, что ли? Пора кончать. Устал, – ничего не напишешь путного. Но такое уж это дело: выдыхаешься весь, а бросить перо не можешь. Будто оно приросло к руке. – А теперь поэт сторонится поэта. Как бы не вызвать недовольство вышестоящих хорошим отношением к человеку, чем-то не угодившему шаху, султану, хану, эмиру, хакиму, сепасалару и прочим знатым, дьявол бы их всех унес! Обмельчали братья-стихотворцы...

В Табаристане великий поэт написал на Махмуда злую сатиру в сто бейтов –

двустийший. Шахрияр, опасаясь за голову Фердоуси и за свою, – ведь царь, коль сатира дойдет до него, изыщет способ уничтожить и поэта, и князя, его приютившего, – купил у Фердоуси эту сатиру за сто тысяч дирхемов, то есть по тысяче за каждый бейт, и предал ее огню.

Воистину Шахрияр оказал Фердоуси большую услугу. И Махмуду тоже. Иначе султан был бы опозорен на весь Восток...

Возвращаясь домой из походов в Индию, – продолжал усталый Омар, – и задержавшись в пути для умирения какого-то мятежника, засевшего в сильной крепости, султан Махмуд услышал сказанный к случаю бейт:

Коль дерзок будет твой ответ,
то говорю я всем заране:
«Отыщет палица моя
Афросиаба на майдане».

Султан спросил: «Чей это столь чеканный стих, умножающий мужество?» – «Несчастливого Абуль-Касима Фердоуси, – ответил визирь Катиб, – который корпел тридцать пять тяжких лет над своей «Шахнамэ», но так и не получил за нее достойной награды».

Махмуд соизволил почувствовать раскаяние и приказал отослать Фердоуси различных ценных даров на шестьдесят тысяч динаров.

Когда караван с дарами султана достиг благодатного Туса и верблюды вошли в него через ворота Рудбар, из ворот Разан как раз выносили тело поэта, дабы предать его земле».

Запоздал султан со своей ослепительной щедростью. Да-а. Название «Книга ученых» к новой работе Омара, пожалуй, не подойдет. Это, скорее, «Книга печали»...

«В Тусе в то время находился один ученый богослов. Человек очень строгий, непримиримый, он заявил: «Я не позволю, чтобы тело Фердоуси погребли на мусульманском кладбище, потому что он был еретиком». И сколько люди ни спорили с ним, богослов настоял на своем. За воротами рос большой сад, принадлежавший Фердоуси. В этом саду его и похоронили».

И так поступили с величайшим поэтом Востока, ни в чем не уступавшим знаменитому Гомеру.

Пусть он писал о древних богатырях, о давно отгремевших событиях, которые вроде бы не имеют никакого отношения к нашему времени. Имеют! Разве не ясно, что уж такой был у него образный строй мышления? Ведь читаем же мы с вниманием и удовольствием старинные басни, где звери действуют как люди и говорят на человеческом языке, и древние сказки, где на каждом шагу происходит невероятное, и извлекаем из них смысл, полезный для нас, живущих сейчас...

Дальше... «Дары султана хотели вручить дочери покойного поэта. Но она с гневом отвергла их: «Мне ничего от вас не нужно».

Омар Хайям отер ладонью слезы. Страшно подумать, что жизнь и смерть поэта и судьба его произведений висят на волоске чьей-то недоброй воли, и тупая воля эта вдруг может все вмиг оборвать...

Самое поразительное в случае с «Шахнамэ» – это что она уже существовала в законченном виде, прежде чем ее признал Махмуд Газнийский, и от того, что он, изрядно помучив поэта, признал ее наконец, в ней не прибавилось ни одной страницы, ни одной строки, ни одного слова. Она была и осталась великой «Шахнамэ» – «Книгой царей». Тут уместней сказать – «Царь-книгой».

О чем же говорит все это?

Настоящая книга живет сама по себе, независимо от того, жив ли человек, написавший ее, или умер, и признал ее или нет кто-либо из власти имущих.

Поэзия – явление самостоятельное. Восклицал Ади ибн Зайд:

Сколько всадников пили у нас
вино – у стыка пыльных дорог!
Где они, скажите, сейчас?
Их унес изменчивый рок.

Ади ибн Зайда тоже не пощадила судьба. По навету завистников царь ан-Нуман велел упрятать его в темницу и задушить. Но стихи, как видите, не пропали...

Тупая боль в плечах, особенно в правом, сделалась гнетущей. Хватит! Омар отшвырнул перо. Как бы нам самим вскорости не угодить на страницы бесконечной «Книги печали».

Часть первая. АСКЕТ И ВЕРТОПРАХ

Ты мрачен? Покури хашиш – и мрака нет,
Иль кубок осуши – тоски пройдет и след.
Но ты суфием стал! Не пьешь, не куришь...
Булыжник погрызи, – вот мой тебе совет.

– И что тебе дадут за эту книгу? – Эль-Мирра с тахты кивнула на столик, где при слабом свете одинокой тонкой свечи смутно белели бумаги.

Халатик стыдливо запахнут. Колени плотно сжаты. Взгляд изучающий. Вид – неприступный.

– Не знаю, – вздохнул Омар. Говорили тихо. Он заранее прикрыл резные ставни на окне. – Пожалуй, ничего. Или, скорее всего, семьдесят ударов бичом, как арабскому поэту Башару Абу-Муазу. – Омар сидел на полу, за скатертью, и нарезал на тонкие ломти холодное мясо. – Его объявили еретиком, – за то, что он обо всем думал по-своему, – и заповороли насмерть. Это было при халифе Махди, лет триста с чем-то назад...

Даже в полутьме Омар заметил, как в красивых ее глазах сквозь непонимание проступил животный страх.

– Зачем же ты пишешь такую книгу? – спросила она низким, чуть охрипшим голосом.

– А ты зачем стихи слагаешь? – Поэт выложил на поднос абрикосы, черешню, разломил на куски лепешку.

– Просто так. – Эль-Мирра отчужденно пожала плечами. – Для развлечения.

Из строптивости это говорит. Стихи она сочиняет, чтобы душу отвести. Как, впрочем, и сам Омар. Подражает в них грустным народным песням. И ему, кстати, тоже. Они не все равноценны, но все одинаково запальчивы. В ее стихах – те же резкость и злость, что и в характере, и еще – нечто скрытое, тайное, что он никак не может уловить.

Вот, например:

Грех? День – без радости, ночь – без сна...
Погаснув, скатилась бы в яму луна,
Если б узнала, о чем я мечтаю,
Когда остаюсь в темноте одна.

– О чем же? – спрашивал Омар.

Ответ такой же загадочный:

– Подумай...

– Для меня моя книга не развлечение, – мрачно сказа Омар, осторожно разливая по чашам чистое красное вино Труд. Смысл жизни. Долг.

Эль-Мирра вздохнула с глубоким недоумением:

– И как вы, поэты, все это выносите? Вешают вас, жгут на кострах. Сажают на цепь. А вы – опять за свое.

– На то мы и поэты.
– Да ну вас! – она с досадой махнула рукой. Видит Омар: стихи и книги интересуют сейчас девушку меньше всего.
– Иди сюда, – позвал Омар.
– Нет! Я боюсь. Тетушка вечером пригляделась, шипит: «Хорошеешь? Тебе замуж пора. Выдам за ночного сторожа. Путный человек не возьмет безродную». Если она узнает...
– Не успеет узнать. Завтра же пошлю к ней сваху.
– Каждую ночь обещаешь.
– Видишь, с книгой вожусь. Но завтра – непременно! – Внутри черным крылом опять взмахнула тревога. Омар отогнал ее, вскинув чашу.

Ты знаешь, отчего петух в рассветный час
Клич скорбный издает в десятый раз?
Он в зеркале зари увидеть побуждает,
Что ночь, еще одна, прошла, увы, без нас...

Эль-Мирра воркующе засмеялась и спорхнула к нему с тахты.
Омар мучительно застонал. Эти стихи он когда-то читал Рейхан в Самарканде. И она смеялась так же воркующе...
– Что ты, Омар? – испугалась Эль-Мирра.
Он мотнул головой, чтобы стряхнуть наваждение:
– Вспомнил кое о чем.
– Болит что-нибудь? – не поняла тюрчанка.
– Совесть. – Он не хотел ей говорить, что теперь часто стонет, кряхтит и охает от запоздалого раскаяния. Те, кого много лет назад обидел Омар, может быть, давно забыли о нем, он же забыть их не может... – Пей, – хмуро сказал Омар. Он через силу улыбнулся. И произнес экспромтом, чтобы ей угодить:

О горе, горе сердцу, где жгучей страсти нет,
Где нет любви мучений
и грез безумных нет!
День без любви потерян; противней и серей,
Чем этот день бесплодный,
и в дождь унылый нет...

Стихи получились, конечно, не ахти что. Розовый дым. Пустословие. Но они будто подхлестнули Эль-Мирру:
– Ох, старик! Ох, дурной старик...
Звериная страсть. Неутолимое любопытство. Каждую ночь, ускользнув от своей тетки, по мужски храпевшей во сне, она требует для себя все новых и новых открытий.
Может, в этом и кроется ее загадка?

На сей раз они проспали рассвет.

Позади Омарева дома жил, как известно, хлебопек. Поэт иногда заходил к нему с улицы, купить горячих лепешек. Их пекли в огромной круглой печи, раскалив ее свод огнем изнутри, и десятками, сотнями, румяные, мягкие, выносили на продажу.

В это утро жена хлебопека встала рано и поднялась на крышу. Лестница стонала и взвизгивала от непривычной тяжести. Вчера их семейство отрясло в своем небольшом саду три абрикосовых дерева, плоды разложили сушить на циновках во дворе и на крыше.

За ночь, конечно, абрикосы высохнуть не могли. И растащить их никто не мог, – в этих краях у соседей не воруют. И все же... Птицы могут склевать. Если же честно, – то ее,

неимоверно толстую, чуть свет заставило лезть на крышу, где ей нечего было делать, чувство собственности, у которой в хозяйстве прибавилось добра. И связанное с этим беспокойство. Она с удовольствием озидала свой достаток и с замирающим сердцем прикидывала, сколько дирхемов получит зимой за него на базаре.

Тяжело наклонилась, взяла чуть увядший янтарный плод.

Мы народ бережливый, расчетливый. Мы умеем жить. Не то, что этот тощий бездельник-поэт, новый сосед, которого то не видать много дней, то он бредет из харчевни навеселе. И везет же нам на соседей! Покойный художник с придурью был, этот – еще дурнее. В мечеть не ходит, соседей к себе не пускает, в их житейских делах не участвует.

Она сунула в рот абрикос. Вместе с крохотным муравьем, прилепившимся к нему. Не заметила. Несмотря на столь ранний час и обильный вчерашний ужин, ей уже хотелось есть. Жить у нее значило есть. Много-много, без усталости. Чем дороднее человек, тем он более уважаем среди себе подобных.

И вдруг...

Она тихо вскрикнула и чуть не подавилась абрикосовой косточкой.

О боже!

Эта девчонка!

Эта скромница!!!

Эта красотка!!!

Эта Эль-Мир-р-р-а-а... из двора Хайяма взлетела на крышу, торопливо огляделась и шмыгнула вниз, к себе домой...

Соседку она не заметила, – та догадалась, при всей своей грузности, мгновенно укрыться за густой кроной чинары, нависшей сбоку. К тому же жена хлебопека, будто нарочно, надела сегодня зеленое, в бурых цветах, старое платье. Как заметишь, если спешишь?

«...Так-так. А я-то, дура, прочила эту Эль-Мирру, чтоб ей пропасть, за старшего сына. Из безродных, выкуп большой не возьмут». Глаза ее остекленели. Первым движением было вцепиться в собственные космы и завопить на весь квартал: «Вой дод! Смотрите, о мусульмане, что творится у нас».

Но... что скажет муж? Человек он усталый, строгий, женского визга не терпит. Может побить. «Не надо кричать. Разбужу потихоньку».

Она колыхнулась к лестнице. Но ненадежный вид перекошки, тонких, кривых, ведущих вниз, далеко-далеко, остановил ее у спуска. Он смутил бедную женщину. Там лестница, тут лестница. В голове мелькнуло туманное воспоминание. Где-то, в детстве, давным-давно, осталась еще одна. Когда-то, девчонкой, пекарша тоже влезла на крышу и, затаившись, следила за мужчинами в соседних дворах...

Решимость пропала. Женщину охватило странное томление. Она медленно спустилась на семь-восемь ступеней, повернулась и села на одну из них. Еле втиснулась.

Забывшее чувство, которое вдруг шевельнулось в давно очерствевшей душе, настроило жену хлебопека на скрытность и осторожность.

«Ведь Эль-Мирру теперь можно даром заполучить, – осенило ее. – Мы не гордые турки, мы скромные персы: и такая девица для нас сгодится. Не буду шуметь! И мужу пока не скажу. Пойду попозже к соседке-швее, посмотрю, разберусь, что к чему. Все надо устроить тихо, спокойно, чтобы никто ничего не узнал».

Теперь она богаче всех соседей! Ибо она вооружена чужой тайной. Все-таки мы горожане. Себе на уме, народ деловитый и хитрый. Она улыбнулась предстоящей выгодной сделке. Даже развеселилась. И, сойдя во двор с тем же странным томлением, замерла у террасы, где сопел в затрудненном сне оплывший болезненный хлебопек.

Ей захотелось к нему, под уютное теплое одеяло. Чего уже давно не случалось. Но черный холодный зев хлебной печки драконьей пастью притянул несчастную к себе. Томление угасло. Она принялась выгребать золу.

Было ей сорок шесть – столько же, сколько Омару...

Шайтан! Как только в дело вмешается женщина, считай, оно пропало. Видно, не зря ее называют исчадием ада. Ее, говорят, не пускают в рай. Ибо еще неизвестно, имеет ли женщина душу, – о чем уже который век спорит с пеной на губах богословская братия.

Омар с болью слышит внутри призывный крик своей книги: «Работай!» Так нет же, изволь отодвинуть все в сторону и тащиться куда-то, сваху искать. Где и как он ее найдет? Никогда Омар не прибегал к услугам этих болтливых проныр. Без них обходился...

Не женитесь, поэты! Омар смахнул со стола злосчастную рукопись. Листы разлетелись с печалью, оскорбленно и скорбно перевернулась чернильница. На изумрудно-зеленом, как луг весенний, тюркском ковре зловеще расплылось траурное черное пятно. Еще одна польза от женитьбы. Предвестник семейного счастья.

Но все же оно, это влажное пятно, сослужило свою добрую службу. Оно отвлекло Омара от сердитых мыслей – и как ни странно, успокоило его и вернуло ему способность ясно соображать.

Эх! Если бы ночью мы могли рассуждать так же трезво, как утром...

Придется жениться. «В конце концов, – усмехнулся Омар, – это долг правоверного. Религиозная обязанность. Жениться – и наплодить как можно больше детей».

Коран разрешает каждому мусульманину иметь четырех жен, если он располагает возможностью их содержать и «делить между ними поровну свою мужскую ласку».

В цветущие 18-20 лет состоятельный юноша женится первый раз. В 30 лет, если хватит средств, берет вторую жену, в 40 – третью, в 50 – четвертую. Чтобы до старости доставало ему свежих радостей. Сказано: «Стол – и тот держится на четырех ножках».

У нас, опять усмехнулся Омар, все получилось немного по-другому. Стол у нас длинный, и похож он на сороконожку...

Что ж! Исправим. Попадет в рай Эль-Мирра, не попадет, – все равно сама она рай.

Годы не те? На Востоке это не имеет значения. В девяносто можешь, пожалуйста, жениться на девчонке. Если есть такое желание. И деньги, конечно.

Итак, что мы знаем о здешних брачных обрядах? Учились же когда-то шариату... В этих краях, где сунниты живут совместно с шиитами, обычаи многие волей-неволей, сделались общими. Дом, где, по слухам, подросла девица на выданье, посещают несколько женщин из семьи, в которой имеется холостой мужчина.

«Холостой мужчина у нас налицо, – усмехнулся Омар невесело. – Но женщин в этой семье не найдешь».

Есть, правда, здесь, в Нишапуре, сестра Голе-Мохтар. Замужем за учителем Мохамедом аль-Багдади, – сам когда-то выдал ее за него. Но люди они богобоязненные, с ним, вертопрахом, не общаются. Чтобы, конечно, не уронить себя в глазах мусульманской общины. И ладно! Бог с ними...

Невеста, принарядившись, выходит к гостям, накрывает стол, стараясь показать себя расторопной хозяйкой. Эх, как у бедняжки руки трясутся, губы дрожат от страха: а вдруг не понравится?

После смотрин к отцу невесты идет с небольшим подарком нишан – отец жениха.

«Где я его возьму? – спросил уныло Омар пустоту. – Не подарок, – отца, мир его праху. И где возьмет его Эль-Мирра? Особый случай».

Договорились о выкупе – объявляют помолвку. Экая канитель! Омар с яростью пнул и опрокинул столик. Затем будет свадьба, на которую нужно звать всех жителей квартала. Визг зурн и грохот барабанов. Шум, теснота. Придется всех угощать, всем угождать, кому-то что-то дарить...

Можно подумать, орава наглых потных мужчин и веселящихся отдельно женщин – самовлюбленных дур, заплывших салом, с отвислой грудью и жирной шеей, имеет какое-то право на жениха и невесту. Утром следует безотлагательно вывесить напоказ белье, чтобы народ правоверный убедился воочию: невеста была «непорочной». А как же! Иначе нельзя.

Но ведь любовь – дело интимное, личное.

Хуже всего, что станешь на несколько дней объектом сплетен в квартале и на базаре. Ничего хорошего не скажут, не надейся. Хотя весь, до последнего фельса, выложишься ради них. Всего лишь новый повод позлословить на твой счет.

Ах, Эль-Мирра, Эль-Мирра. И откуда ты взялась на мою несчастную голову? С крыши свалилась, ноги б тебе сломать...

Но было же сказочно! Он с обычной для него тайной улыбкой, вернее – с неизменной усмешкой, спасительной и веселой, вспомнил, как все это произошло.

Омар сидел у себя во дворе, на скамье у ручья, в тяжких раздумьях над новой книгой. Вытекающий из-под ограды соседнего, слева, двора, ручей забран в короткую керамическую трубу и выведен в небольшой круглый колодец, живописно, в нарочитом беспорядке, обложенный диким камнем. Будто это природный родник: вода в нем бьется, журчит и булькает, как в горных ключах. И, как женщина – пряди волос, полощет в ней обвисшие ветви молодая плакучая ива.

Поэт, подперев подбородок двумя кулаками, отрешенно уставился на живую веселую воду.

Со дна родника, из прохладной его глубины, всплыл, как радостный случай в памяти, красный лоскут. Всплыл, качаясь, и закружился по воде. Омар долго смотрел на него, не видя. И вдруг сообразил: ведь это роза! Поймал, отряхнул. Свежая, только что сорвана. Он поцеловал ее.

Из родника всплыла вторая красная роза и третья. Чудо! Видно, где-то вверх по ручью...

– Эй!

Омар огляделся, – пусто во дворе.

– Я тут, – тихий шепот сверху.

Он вскинул глаза. Девушка... Лежит в тени чинары, на соседской крыше, принадлежащей вдове. Густая челка до самых глаз – с особым рисунком, тюркским – так, что даже бровей не видать. Носик в легких веснушках. Щечки горят.

Вот откуда розы. Прямо с этих щечек их сорвали.

– Целый час на тебя гляжу. Слезла, вернулась. Правда, что ты поэт?

– А как же.

– Одаренный?

– Очень...

– Знаменитый?

– Конечно...

– Холостой?

– Совершенно... – вздохнул Омар.

«Сейчас спросит, много ли у меня денег».

Нет, не спросила. Засмеялась тихо и вкрадчиво, как горлица, обдавая его светлой лаской родных, давно знакомых глаз.

– Я тоже, – смущенно призналась, – стихи... сочиняю...

– О? Записываешь? Принеси, покажи.

– Нет... я писать не умею. Слагаю в уме и запоминаю

– Не умеешь писать! Ну, этому можно научиться. Как тебя зовут? – смягчился Омар.

– Эль-Мирра. Но я сама не знаю, что означает мое имя

– Есть такое растение с благоуханной смолой в жарких краях аравийских. – И сказал, опустив голову: – Знал я одну... Рейхан. Она и вправду пахла рейханом. Слезай. – Он встал, приставил к стене лесенку. – Посмотрим, чем ты пахнешь.

– Нет!

– Тогда – убирайся.

– Не уйду! Наша крыша.

– И сиди на ней, пока не состаришься.

– Я...боюсь. Высоко.

– Подержу, не бойся.

Небольшая, стройная, с едва налившейся грудью, в розовом платье и красных штанишках, стесняясь повернуться спиной, она, – пылающим лицом к Омару, стыдливо посмеиваясь, – сошла к нему, как богиня с неба. Горячий ветер рвал ей платье, оно трепетало, как пламя. Когда ее узкая белая стопа поравнялась с его лицом, он бережно взял в ладонь эту босую стопу и расцеловал тонкие пальчики.

Нет, кожа ее не пахла миррой. Ее аромат был лучше в тысячу раз: она пахла утренней свежестью и безоглядной девичьей любовью...

Омар закрипел зубами. То, что здоровую юную девушку с горячим воображением неудержимо потянуло к опытному, зрелому и крепкому мужчине, вполне естественно. Природа знает, что делает.

Неестественно другое: что вокруг их любви, ясной и чистой, – да, чистой! Что может быть чище настоящей, природной любви? – начнется возня глупых и грубых людей, не имеющих к ней никакого отношения и понимающих женитьбу не иначе, как торговую сделку.

Но скажите, к какой статье шариата можно отнести властное влечение друг к другу Омара и Эль-Мирры, ее тихую улыбку, в которой бездна содержания, выразительный свет влажных глаз, скупые движения рук, понятные только им?

Имам квартальной мечети? Человек недалекий и малограмотный, знающий даже свой неизменный Коран с пятого на десятое. К нему обязан Омар обратиться за помощью, чтобы почтенный священнослужитель через свою достойную жену нашел для Омара сваху. И дура-сваху? Почему он должен впустить в заколдованный мир своей души этих чужих, совершенно ненужных ему людишек?

Во всем мусульманском судебнике, даже в частях о браке, семье, ни разу не упомянуто слово «любовь». Все предусмотрено: как жениться, как разводиться, как делить имущество и детей. Кому и сколько и за что заплатить. О любви же – ни звука! Бред какой-то...

Он услышал за спиной чье-то легкое трепыхание. Повернулся: на подоконнике, уронив крылья, стоит и трясется воробей. Что-то неладное с ним. Омар подошел взглянуть, в чем дело.

Большая, колюче-сухая крошка, из тех, что поэт, как всегда, рассыпал на широком подоконнике, застряла у воробья во рту. Ни проглотить ее не может, ни выбросить, бедный. Стоит и трясется, явно пропадает. Крылышки беспомощно трепещут. Даже взлететь не способен.

– Эй, ты что, помираешь? – Омар слегка хлопнул его по дрожащей спине.

Крошка выпала. Воробей вспорхнул на ветвь соседской чинары и зачирикал, довольный.

Забавный случай.

Омар повеселел. Он поставил столик на место, аккуратно сложил на нем бумагу, водворил туда же перо и чернильницу. Вытер мокрой тряпкой пятно на ковре. Но грязный след от чернил на чистом ковре, конечно, остался.

– Э, ладно! Купим когда-нибудь новый ковер. Если возникнет такая необходимость.

Он отправился на Шелковый базар, к старому знакомцу Музафару, которому гадал по звездам.

– Дай мне отрез на халат. Лучшего шелка, зеленого.

– Жениться надумал?

– Что, похоже?

– Помолодел, похорошел. Обычно ты ходишь в чем попало. А тут новый халат, да еще шелковый. Дай бог! Может, остепенишься.

– Вряд ли... Все стараются меня переделать! Зачем? Бесполезно. Какой я есть, таким и останусь до конца. Неужели не можете потерпеть еще каких-то жалких двадцать пять – тридцать лет?

С отрезом шелковой ткани под мышкой он постучался к соседке. Хотя и не положено мужчине входить в дом, где одни женщины. Э, пусть. Есть предлог.

Ему открыла Эль-Мирра. Испугалась: «Ох!» – и убежала. К Омару вышла хозяйка.

– Простите, – смутился Омар, стараясь не глядеть на ее открытое, в глубоких морщинах лицо. Когда-то, видать, она была очень красивой. Вообще турки красивый народ. Особенно заречные.

– Ничего! – сказала она резко. – Я уже и сама забыла что женщина. Всю жизнь тяну мужскую лямку. С посредником, который сбывает мои халаты, торгуюсь, как базарный сквернослов. Проходи, сосед.

В углу, на широкой доске, Эль-Мирра деревянным молотком часто и крепко простукивает швы на готовом халате чтобы их сгладить. Могла бы и оставить на время работу. Нет, видно, нельзя. Этот глухой ровный стук Омар слышит каждый день, с утра до вечера. Но терпит его. Ибо знает: стучит Эль-Мирра. Она подает ему весть о себе.

На него не взглянула, отвернулась при тетке с положенной скромностью.

– Заказ принес, – развернул Омар свой шелк. – Простите, сам зашел, – женщин в моем доме нет.

– Обзаведись, – нахально сказала швея. – О! – Она с удовольствием встряхнула блестящую ткань. – Подкладку сама подберу подходящую. Нарядный будет халат. Но зачем такой одинокому человеку?

– Чтобы перестать быть одиноким, – с усмешкой ответил Омар.

– Жениться хочешь? Хорошее дело. Давно пора. Э! – осенила ее догадка. – Да ты никак свататься к нам заявился? Ха-ха! Я в первый же миг поняла: пришел неспроста. Нужен халат – мог бы готовый купить на базаре. С его-то деньгами. Кто же из двух тебе приглянулся? – Она покосилась на Эль-Мирру. – Женись на мне, я лучше. Я человек взрослый, серьезный. Тебе под стать. Не прогадаешь.

Омар, удивленный столь грубой ее прямоотой, тихо сказал, чтоб не обидеть:

– Я бы... рад. Но ремесло у вас... слишком громкое. – Он кивнул на молоток Эль-Мирры. – Я стука и грохота не выношу.

– Какое есть! – сказала она злобно. – Себя кормлю и эту дармоедку. Перестань, дура, стучать!

Эль-Мирра отложила молоток, безмолвно понурилась.

– Но она же вам помогает?

– Все равно обуза! Бремя тяжелое.

Омар, увидев, с кем имеет дело, сказал напрямую:

– Я бы мог освободить вас от этого бремени.

– Да? Так бы сразу и сказал! – Грубые губы старухи расплылись в гнусной улыбке. – Сколько дашь?

Будто халат продает...

– Сколько просишь? – невольно огрубел и Омар.

Он поймал на себе больной взгляд Эль-Мирры, душа у него заплакала от жалости к ней. Тут же взять бы бедняжку на руки, к сердцу прижать...

– Пятьсот золотых, – твердо сказала соседка, – и купишь мне лошадь и повозку. И наймешь молодого слугу.

– Пятьсот не могу, – ответил Омар, прикинул в уме, сколько денег у него осталось. – Дам двести динаров. Лошадь купить, слугу нанять – согласен. Хотя зачем они тебе? Ну, молодого слугу, положим, можно к чему-нибудь приспособить, – сказал он ехидно. – А лошадь?

– Всю жизнь мечтала лошадь иметь. Двести? Сойдет. Ход пробьешь между нашими дворами.

– Нет. Это – нет.

– Ну, ладно. По рукам, что ли?

Ей и не снилось такое счастье.

– По рукам!

Хлопнули по рукам.

– А халат, – спохватилась старуха, – как, будем шить?

– Не надо, – махнул рукой Омар. – Возьми отрез себе. Дарю.

– Вот спасибо! – Старуха живо спрятала отрез в сундук.

Омара неприятно поразило, каким волчьим взглядом, исподлобья, проводила Эль-Мирра драгоценную ткань и затем уставилась на тетку...

Без всяких свах обошлось! Эль-Мирра проводила его до калитки. И, спеша, чтоб не заметила тетка, радостно кинулась на шею.

– Ночью приду, – шепнула она возбужденно. – Купишь мне такой же отрез?

Негодный поэт! Соблазнитель проклятый. Ишь, как быстро прибрал к рукам юную иволгу. Что ж, мужчина он видный, ничего не скажешь. Легкий, статный. Веселый. И, говорят, очень ласковый, добрый. И не без денег. Чего еще нужно глупой девчонке?

Нет уж, ты больше ее не увидишь! Жена хлебопека умылась, что случилось с нею редко, набелились и нарумянились. Глаза сурьмой подвела, надела свое лучшее платье. Завернула в чистый платок стопку горячих лепешек и, пыхтя, явилась к соседке.

Ну, тут началось!.. Объятия. Доброе утро. И как житье и как здоровье. И как идут дела. И как племянница – растет, хорошеет? Те многословные расспросы, пожелания и приветствия, которыми люди на Востоке, следуя правилам этикета, осыпают друг друга при встрече с самыми любезным и искренним видом, хотя, собственно, зачастую им дела нет друг до друга...

«С чего бы это? – подумала злобно швея, увидев целую стопку свежих лепешек. – Обычно одну в долг не выпросишь, и вдруг такое изобилие. Этой толстой пройдохе что-то нужно от нас».

В ее бедном уме зашевелилась догадка.

«Нищета, – одним взглядом оценила пекарша обстановку: ветхая кошма на полу, щербатая посуда, одеяла драные в нишах. – Ну и родню я себе подыскала! Неряха, – покосилась жена пекаря на домашнее грязное платье швеи, на лоскуты на полу. – Дикарка. Гостью встретить не может как следует. Погодите. Заполучу племянницу – тетку и на порог не пущу».

Особенно горячо обнимала соседка Эль-Мирру. И, обнимая, одной рукой гладила ей плечи, спину, другой торопливо ощупывала грудь, бока, живот – нет ли где изъяна. Поцеловала в губы, – не пахнет ли изо рта. Эль-Мирре стало не по себе от ее ласки. Блаженство, когда это делает Омар. Но тут тебе в ухо пыхтит толстуха-старуха. Противно!

– Хорошо слеплена девушка! – похвалила соседка Эль-Мирру. – То есть скроена, – перешла она на «швейный» язык. – Завидная невеста. Веришь, деточка, нет, но в твои годы я была еще тоньше и стройнее. Хе-хе.

Это она сказала, чтобы Эль-Мирра улыбнулась и показала зубы. Ровные белые зубы – верный признак крепкого здоровья.

«Все ясно, – кивнула себе швея, – Тоже свататься пришла. Моя-то дуреха – нарасхват? Может, к вечеру еще кто придет? Не продешевить бы».

– Подмети, детка, убери весь хлам, – велела она Эль-Мирре сладким голосочком. – Что же это мы? В кои-то веки соседка к нам заглянула – и усадить ее негде.

Эль-Мирра, потускнев от недобрых предчувствий, намочила веник в ручье, быстро вымела кошму, постелила, втрое сложив, одеяла, раскинула скатерть.

Все у нее спорилось в красивых маленьких ручках, и соседка заметила это.

«Будет хорошей работницей, опорой на старости лет».

– Скучно стало дома, – со вздохом уселась соседка на мягкую подстилку. – С утра у печки, насквозь прожарилась. И еще уборкой занимайся, еду готовь. Эх, нет у меня помощницы! Старшего сына хочу женить. И подумала я, да простит меня аллах: зачем искать невесту далеко, брать ее со стороны, когда через ограду, в соседнем дворе, живет

девица на выданье? Вот и пришла посмотреть, разузнать, закинуть словечко...

– Уже просватана, – ответила хмуро швея.

«Омар обещает двести динаров – с тебя я тысячу сдеру».

– Как? За кого? – всколыхнулась соседка.

– Поэт, – кивнула в сторону тюрчанка, – предлагает за нее двести динаров. Лошадь с повозкой вызвался купить, нанять слугу. Шелк прекрасный мне подарил...

Вынула шелк, развернула, – и вся комната наполнилась мягким зеленым светом. Будто глыба изумруда засверкала в ее середине...

– И ты согласилась? – ахнула пекарша, тоже позеленев. Глыба изумруда как бы свалилась на ее голову.

– Почему нет? – пожала плечами швея. – Сочту за честь породниться с ним. Человек известный, солидный. И щедрый.

На губах у соседки появилась зеленая пена:

– Он же пьянчуга!

– Его дело. Все равно человек он особенный. Как-никак, с царями водился.

– Ну, когда это было! – вскричала жена пекаря, холодея при мысли, что добыча может ускользнуть от нее. – Было да минуло. Теперь он в опале. Омар человек пропащий. Поэт, одним словом. У него нет будущего. А сын мой – орел! Деловитый, хваткий. Высоко взлетит. Омар прогуляет все свое золото – и опять останется ни с чем, мой же Хаким привык беречь каждый фельс. Эль-Мирра будет за ним, как за каменной стеной.

– Вот именно! – съязвила Эль-Мирра. – То за теткой была, как за каменной стеной. С железной решеточкой наверху. Теперь у вас попаду за нее. Сиди и дрожи над каждым фельсом. Крыса твой сын, а не орел...

Ого! Девчонка-то зубаста.

– Ты при взрослых помалкивай! – осадила ее соседка. – Мы знаем кое-что... о жизни. В иных стенах, – отметила пекарша веско, – бывают проломы.

Эль-Мирра сразу потускнела. Неужто?.. Что теперь будет?

– Что скажешь, милая? – ухватила пекарша за швею, не давая ей осмыслить намек.

– Не знаю, – тяжело вздохнула швея. Ее унылая, однообразная, как дешевая бязь, серая жизнь, состоящая нудного труда, скудной еды и усталого сна, нарушилась так внезапно, что она растерялась. – Пусть сама Эль-Мирра скажет, чего она хочет.

– Я выйду только за Омара.

Толстуха, жена пекаря, вернулась к вечеру с другой толстухой, женой имама квартальной мечети.

Нелегко ей было уговорить достойную женщину оставить прохладный, под густой шелковицей дворик. Тем более, что мечеть и жилье имама находились в другом, дальнем конце квартала. Изрядно упаришься в плотной чадре, пока доберешься сюда.

Одной стопкой лепешек дело не обошлось. Пришлось добавить еще две, и три десятка яиц, и пять дирхемов. И пообещать золотой динар.

Соблазнилась! Квартал-то бедный. Он – в той части Нишапура, где, в отличие от городского центра с его большими усадьбами, просторными садами, бассейнами, высокими медресе и мечетями, жуткая скученность и невзрачность. Где, как писал один арабский географ, «в людях... грубость, в их головах – легкомыслие; нет изящества и учтивости, нет красивых мечетей. Улицы захламлены, базары запущены. Бани грязные, лавки убогие, стены неровные.

В этой части города всегда случаются несчастья и водит с ней дружбу дороговизна. Мало фруктов и овощей, недостает деревьев для дров. Заработки трудные, средства к жизни – скудные.

Смуты жителей тревожат сердце, вражда среди них ранит грудь. Священнослужители вместе с ними погрязли в бедствиях и пороках. Когда эмир в отъезде, эта часть Нишапура приходит в расстроенное состояние. Простой народ, если крикнет и позовет кто-нибудь,

сразу следует за ним; там дикие распри и скверные нравы».

Да, захудалый квартал. И выходное платье у жены имама такое, какое, скажем, жена купца Музафара постыдилась бы дома надеть...

Они, отеснив хозяйку к стене, заполнили ничтожную каморку своими горячими телами и едким запахом пота.

Те же пыльные одеяла. Та же нечистая скатерть. Те же лепешки на ней, уже черствые. И миска с прокисшей сметаной, – пришлось разориться ради важных гостей. Не выходя за порог, терпишь убытки. Вся жизнь – убыток...

– Ведь Эль-Мирра сказала, – устало вздохнула швея, – что выйдет только за Омара. Я не враг своей племяннице. Может, ворчу, может, кричу, характер такой, – все равно у меня никого нет роднее. Он понравился ей.

«Шайтан вас носит, – негодовала она в душе. – На весь день сорвали мне работу».

– Он безбожник, – строго молвила хатун-бий – ученая женщина. Ученой она называлась по мужу-имаму, сама не умела ни читать, ни писать. Но память у нее была хорошей. Без этого не проживешь. – «И может быть, вы, – произнесла она нараспев стих из корана, – ненавидите что-нибудь, а оно для вас благо, и может быть, вы любите что-нибудь, а оно для вас зло, – поистине, аллах знает, а вы не знаете!» Омар Хайям – зло для вас, о сестра. Не к лицу честной мусульманке родниться с таким человеком. Да и не человек он вовсе! Он сам шайтан, язычник, поэт беспутный. Все женщины квартала перестанут с вами здороваться.

– Пусть, – пожала швея угловатыми плечами. – Что мне до них? Они и сейчас не визжат от радости, встретив меня.

– Да, но тогда будет хуже: у вас перестанут покупать халаты. И вы лишитесь верного куска хлеба, – на Омара надежда плоха. Он вертопрах.

– Мои халаты, – оскорбилась швея, – везде нарасхват, я умею их шить. Буду продавать на других базарах. Город велик.

– Вас вместе с беспутным зятем и неразумной племянницей выкинут вон из квартала. Придется искать другое жилье.

Швея понурилась. Да-а. Они могут все это. Община сурова.

Никого бы ей не нужно в зятья, кроме Омара. Уж такой он вежливый, добрый. Никогда бы ее не обидел, ни ее, ни Эль-Мирру. А то, что он язычник и прочее – бог с ним! Она и сама не была прилежной верующей. Что там будет, на том свете, и когда это будет, и будет ли? Швея взглянула темными глазами на свои костлявые руки, сплошь исколотые иглой. Не до молитв.

Но ведь эти – не отстанут...

– Ну, хорошо. – Она сделала шаг к отступлению. – Если я выдам Эль-Мирру за сына этой достойной женщины, меня оставят в покое?

– Непременно. И окружают уважением. Ибо вы породнитесь с честными, порядочными людьми. Которые всегда помогут в тяжелый день.

– «Погоди, я тебе помогу, уж так помогу!» – подумав мстительно пекарша.

– Тогда перейдем к делу, – сухо сказала вдова. – Омар дает за Эль-Мирру двести динаров. Какой же выкуп предлагаете вы?

– Выкуп? – удивилась пекарша. – Будут расходы на свадьбу. Никакого выкупа не будет.

– То есть как? – поразились старуха-тюрчанка.

– А так. – И соседка выложила свой главный довод который злорадно приберегала к концу: – Лепешка-то горелая. – И поправились, чтобы было понятней: – Халатик... дырявый. Ты бы ночью не спала так крепко и проследила, куда через крышу лазит твоя воспитанница.

– Вот как? – вытянула шею швея. И стала похожей на кобру. – Это правда? – зловеще обратилась она к Эль-Мирре, сидевшей напротив за скатертью.

– Да! – резко ответила та.

– С ним... с Омаром?

– Да!

О боже! И это – серьезные, взрослые женщины? Сами-то небось...

– Я знала... я знала, что ты когда-нибудь навлечешь беду на мою голову, – бормотала вдова потерянно и, как слепая, шарила вокруг себя, что-то разыскивая. – Куда теперь я денусь от позора?

– Согласитесь отдать ее за Хакима – и никакого позора не будет, – веско сказала «ученая женщина». – Все будет чинно и благопристойно. Мы это устроим. В противном случае – на весь квартал ославим.

– На весь город, – уточнила пекарша.

– О боже! За что же мне такое наказание? Столько лет кормила, холила, думала, будет опорой на старости – и вот, получай награду. Я знала, я знала... – Она нащупала у стены, за спиной, что искала.

И, взметнувшись над скатертью, точно кобра в броске, ударила Эль-Мирру в лоб деревянным молотком. Тем самым. Затем откинулась к стене и, безумно выкатив глаза, завывала протяжным и хриплым диким голосом.

Кровь хлестнула на скатерть, густо обрызгала хлеб. Эль-Мирра без чувств уткнулась головой в сдобные дареные лепешки.

Теперь они несъедобны. Опять убыток...

В эту ночь Эль-Мирра не пришла. А ведь обещала! Обычно, когда не могла, предупреждала заранее: буду спать, смертельно устала, или хвораю, или еще там что.

Отрез алого шелка, который Омар купил для нее, так и остался лежать неразвернутым в нише.

Что случилось? Э, наверное, ничего особенного. Взбудоражены с теткой. Долго судили-рядили, как лучше свадьбу сыграть, да и свалились без сил. Или швея, спохватившись, решила приглядывать за подростокшей племянницей...

«Ладно! – беспечно махнул рукой Омар. – Я сам уже сколько ночей не высыпаюсь. От любви тоже надо отдыхать».

И улегся на тахте без тревог и сомнений. Никуда Эль-Мирра не денется! Завтра придет...

Все ж ему не хватало ее, во сне он водил горячей рукой по постели справа от себя, где обычно лежала Эль-Мирра, и раза три, не найдя, просыпался испуганный, с тягостным ощущением непоправимости.

Он встал, как всегда, на рассвете. Обычно вставал отдохнувший, с ясной головой и крепкими руками. Сегодня был вял и подавлен.

Только с утра, натошак и на свежую голову, заварив китайский бодрящий напиток «чай» или йеменский «бон», то есть кофе, Омар мог писать. Стоило только ему поесть, как он сразу утрачивал работоспособность. Во второй половине дня читал или спал.

Уныло послушав иволгу в саду, он со вздохом сел за работу.

«Когда великий Абу-Рейхан Беруни закончил в Газне свой двухтомный «Звездный канон», правивший в ту пору султан Масуд, сын свирепого Махмуда, вознамерившись прослыть покровителем ученых, приказал выдать ему столько серебра, сколько смогут унести два верблюда. Но ученый отверг царский дар:

– У меня есть крыша над головой, есть одежда, вполне достаточно пищи, сверх этого мне ничего не нужно. – И отправил верблюдов с серебром обратно.

Обозленный Масуд посадил его в тюрьму.

Сказал ар-Рахиб аль-Исфахани: «Наихудшие из эмиров – те, что наиболее удалены от ученых, а наихудшие из ученых – те, что наиболее близки к эмирам». И даже аль-Газали, совсем не бунтарь, говорит: «Если ты увидишь ученого, который всегда при дворе, знай, что он вор».

Интересно бы встретиться с ним, с Газали, посмотреть, что из него получилось в Багдаде...

За раскрытым окном – тихо, спокойно, нет лучшей поры для работы! Но тишина, что

обычно несла ему радость почему-то сегодня стала его угнетать. И постепенно сделалась невыносимой.

Он сперва не понял, почему. Но писать уже не мог. С недоумением бросил перо, походил по ковру от стены к стене. И, будто очнувшись, резко вскинул голову. Не слышен стук молотка Эль-Мирры! Стук, ставший для него привычным и, можно сказать, многозначительным. Она не дает о себе знать...

Может быть, еще рано? Нет, уже солнце взошло. Случилось что-то плохое. Он сразу почувствовал это. Омар лихорадочно накинул легкий халат, ощупал деньги в кармане, сунул босые ноги в туфли и ринулся на улицу.

Сел на скамейку возле калитки, чтоб унять дрожь в руках и ногах и, главное, в сердце. Успокоившись малость, украдкой, будто уже уличенный в жутких грехах, скользнул к соседской калитке, постучался тихонько...

Шаги во дворе – легкие, но медлительные. Не Эль-Мирра. Та ходит, как порхает. Он заглянул в щель. Старуха. Подошла и тоже прильнула к щели. Омар отшатнулся. Швея, как змея, сверкнула на него недобрым оком, проворчала что-то злое и удалилась.

– Тетушка! – тихо позвал Омар сквозь щель.

– Будь ты проклят, развратник, подлый соблазнитель!

Та-ак. Омар, оглушенный, побрел по узкой улочке, сам не зная, куда. Прохожих нет, плотная пыль еще не взрыта ногами.

Он долго брел мимо кривых оград, кое-как сооруженных из грубых шершавых камней. Убогая улица. Убогий квартал. Убогий мир. Есть в нем один яркий цветок, Эль-Мирра душистая, но, похоже, и ту у него отберут...

«Куда я тащусь? К черту!» Калитка осталась открытой. Как бы кто не влез и не надругался еще и над его новой книгой.

Он решил обойти дом с другой стороны, чтобы опять не попасть под змеиный взгляд швеи, – ему казалось, она весь день будет смотреть сквозь щель в калитке...

Вкусно пахнет горячим хлебом. У этих соседей калитка открыта с утра, вход для покупателей всегда свободен. Купить, что ли, свежих лепешек? Работать нынче, видно, не придется, – будем пить и есть.

Из большой круглой печки, уже пустой, волной исходит нагретый воздух и таинственный, щемящий душу, родной человеку запах теплой золы. В огромной плоской корзине – гора пышущих жаром золотистых плоских хлебцев. Навес над печью густо закопчен. Что ни говори, благородное эхо ремесло: кормить людей добрым хлебом.

Омара встретил сын хлебопека, старший. Румяный, как лепешка, гладкий, упитанный губошлеп. Даже брюшко у юнца выступает, круглое, как арбуз. Когда успел наесть? Наверное, поглощает за один присест десять лепешек, макая их в густой каймак...

Молодой хозяин, который, бывало, с поклоном брал у Омара фельсы, почему-то хмур, не приветлив:

– Для таких, как ты, у нас нет хлеба!

– Да-а? – изумился Омар. Он сперва опешил от неожиданности. Затем, догадавшись, что эти тоже чем-то причастны к его отношениям с Эль-Миррой, яростно стиснул свои крепкие челюсти. Он мог бы одним ударом пробить наглецу пустой его череп! Эх, нельзя. И Омар, сдержавшись, сказал сквозь зубы: – Ладно. Я пойду на базар и за один трехфельсовый хлебец уплачу нарочно целый динар. – Он сунул монету под нос юному пекарю. – И ты будешь в убытке, ишак. Золотой динар! Ты такой в руках никогда не держал. Я же их прокутил сто тысяч...

Он повернулся, ушел.

Началось... Теперь эти станут его травить.

Что же, вырыть во дворе большую яму, наполнить ее водой – и продать усадьбу кожевнику? Чтоб оглушить весь квартал нестерпимой вонью мокнущих кож?

Э, ну вас...

Сказал Абуль-Атахия:

О, как много людей на земле!
Но как мало людей в их числе...

Омар запер калитку, достал из подвала кувшин чистого красного. Ячменную водку он в рот давно не брал.

«Все семь чудес света, – усмехнулся Омар, наполняя чашу, – созданы народами, поклонявшимися виноградной лозе».

Он вспомнил кстати легенду из своей «Навруз-намэ». ...Однажды царь Шамиран сидел у окна, при нем находился Бадам, его сын, отменный стрелок. Вдруг перед ними на землю с криком опустилась птица-феникс с толстой змеей, обвившейся вокруг ее шеи. Змея готовилась ужалить красивую птицу. Бадам, по приказу отца, вскинул свой перламутровый лук и пришил стрелой к земле змеиную голову, не причинив никакого вреда несчастному фениксу. Он с благодарным криком улетел.

Через год, в тот же день, на том же месте, они вновь увидели его. Феникс что-то положил на землю крикнул несколько раз и взмыл к небу.

– Посмотрите, что он оставил, – сказал вельможам царь Шамиран.

Они принесли три маленьких твердых зерна. Царь приказал посадить эти зерна в саду. Из них весной выросла тонкая гибкая ветвь. Она постепенно превратилась в длинную упругую лозу с широкими зубчатыми листьями.

Это растение люди видели здесь впервые, и не было в саду куста веселее. Как украшения на невесте, на нем густо висели гроздья. К осени ягоды потемнели, из зеленых сделались черными, как блестящий агат, и стали осыпаться с лозы на землю.

– Выжми их, слей сок в чан и посмотри, что получится, – велел садовнику царь Шамиран.

Спустя несколько дней, садовник ему доложил:

– Сок без огня кипит, как вода в котле.

Когда сок перестал кипеть, он сделался ясным, прозрачным, словно рубин.

«Назначение растения – в этом, – решил царь. – Но мы не знаем, полезно оно или, может быть, ядовито».

Из тюрьмы привели убийцу, приговоренного к смерти, дали ему чашу перебродившего сока, посмотреть, что из этого выйдет.

Выпив чашу, невольник скривился: «Горько!» – «Хочешь вторую?» – «Хочу». После второй развеселился, начал петь и плясать. И попросил третью чашу. После нее лег под кустом и крепко уснул. Когда он проснулся, его привели к царю.

– Что ты почувствовал, когда это пил? – спросил Шамиран.

– Я почувствовал себя царем, – сказал невольник.

Царь простил ему совершенный им грех. И сам научился пить вино и петь при этом. И тому же научил других...

Ночь была серебристо-белой. При этой белой огромной луне можно читать, не напрягая зрения. На деревьях четко виден каждый лист, во дворе – каждый камушек. И в ручье струится жидкое серебро.

Омар сидел у своего просторного окна и смотрел на стену соседнего дома. На ней – косая черная тень с переладиной, как от виселицы. Сама же лестница сиротливо обнажена, она забыто и холодно белеет под ясной луной, будто инеем ее обнесло.

Как страшно все изменилось! Еще вчера по этим перекладам ступали горячие ножки Эль-Мирры, – они всегда у нее горели.

И Омар принимал все, как должное. Все было в порядке вещей. Как быстро мы привыкаем к счастью, когда его обретаем, и перестаем ощущать в первоначальной остроте и свежести. Перестаем, короче, ценить.

А ценить бы надо его. Каждый миг. Один внезапный поворот судьбы – и ничего больше нет. Пустота. Сиди и вой на луну, как собака.

Горечь утраты, переполнив грудь черной отравой, горячей волной прихлынула к голове и хлестнула из глаз обильными слезами. Он плакал навзрыд, как женщина. И шептал на греческом языке стихи из Каллимаховой «Гетеры»:

Пусть и тебе так же спится,
Конопия, как на холодном
Этом пороге ты спать
здесь вынуждаешь меня...

И, как бы услышав его вздохи и стоны, на соседней крыше, в черно-зеленой тени чинары, возникло белое видение.

Оно заструилось по лестнице вниз, белым вихрем пересекло яркий дворик и через несколько мгновений впорхнуло в комнату. И в ней стало еще светлее. Отражение лунного света от белой повязки на голове Эль-Мирры казалось нимбом вокруг нее. И пятно на повязке – кровавой звездой.

Изнуренный Омар, не веря в удачу, – таким теперь все сделалось шатким, неуловимым, припал мокрым лбом к босым ногам Эль-Мирры и омыл их слезами. Последние радости. Последнее свидание...

– Убежим! – предложила Эль-Мирра порывисто, когда они, жарко оплакав друг друга, уже успокоились.

И глубоко озадачила этим Омара.

Он бы, может, и убежал вместе с нею. Если бы знал за собой вину. Но любовь – не преступление! Если это не так, то почему же тогда мы уже тысячу лет кричим что любовь – счастье, благо и прочее? Любовь в пределах узких правил – не любовь.

И к тому же – книга. Ее надо писать. Он писатель. Он должен писать! Неужели это непонятно? В бегах в грязных кельях шумных караван-сараев не много сделаешь. Работа над книгой, особенно такой, какую он задумал, требует тишины, обстоятельности, полной свободы и душевного равновесия.

Но какое уж тут душевное равновесие, если будешь чувствовать себя беглым преступником, которого могут в любой миг схватить?

И, честно сказать, и возраст уже подходит у него к черте, когда, как ни петушись, дает себя знать усталость и человек начинает бояться всяких передрыг и приключений. И вообще он с детства был склонен к миру, покою и созерцанию. Это жизнь вертела им так и смяк против воли его.

Может быть, он смалодушничал, сказав неуверенно:

– А книга?

– Скажи прямо, – резко вскинулась Эль-Мирра и тут же со стоном схватилась за голову в белой повязке с кровавым пятном, – что для тебя важнее: твоя книга или моя любовь?

Умна, чертовка, не по возрасту! Но вопрос – глупый. И каверзный. Как будто книгу можно оторвать от жизни. Но уж такая, видно, у женщин логика. Или – или. Ты, мужчина, как хочешь, так и выкручивайся.

– Книга, – сказал Омар с душевным скрежетом. – Все-таки звание у меня – Поэт, а не Жених. Я принадлежу не только тебе. И не только себе. Я принадлежу тем, кто читает мои книги. То есть народу.

Она – запальчиво:

– Народ не умеет читать!

– Зато у него хорошая память. В Нишапуре, – что в Нишапуре, во всем Иране и Туране, – нет человека, который не знал бы моих стихов наизусть. Даже на музыку их кладут.

– А! Ну что ж... если так. – Она поднялась, обтянула небольшое ладное тело ночной белой рубашкой и, сев на край тахты, задумалась о чем-то своем...

Во дворе – внезапный грохот. Чей-то сдавленный взглас. Старуха-швея, косматая,

страшная, с деревянным молотком в руке, свалившись вместе с лестницей, вломила, шипя и хромя, в их тихий приют.

– Наслаждаетесь? Воры! – Бедняга считала, что племянница, а теперь и Омар, обируют ее. Она не кричала, она лишь негромко рычала, боясь разбудить соседей, будущих родственников. – Убью стерву! – Опрокинув столик, тетка ринулась с молотком к Эль-Мирре.

Он схватил ее за руку, вырвал молоток. Старуха, забывшись, завопила на весь двор. Омар закрыл ей рот ладонью. Сейчас сюда сбежится весь квартал.

Швея вцепилась ему в бороду. Никогда не думал, что женщина может быть такой злобной тварью. В припадке безумия, со сладострастной яростью способна убить кого угодно. Разговоры о ведьмах-кровопийцах, пожалуй, не случайны.

Он швырнул ее в угол, старуха села у стены и заревела низким и отвратительным голосом. И Омар с ужасом увидел, что Эль-Мирра уже не с ним, а с теткой своей, хлопочет возле нее, по ту сторону рабочего стола, а не по эту. Горе поэту!

– Это и есть счастье женитьбы? – вскричал Омар. – Все! Убирайтесь обе к чертям. Я не женюсь, раз такое дело. Никогда уж больше не женюсь. Век не служил никакому идолу, – женщине тем более не стану. Чего вы все суеитесь? Трясете своим... м-м... духовитым бельем, носите с ним, как со знаменем – и чадите на весь белый свет? Всего и забот. И я должен угрохать весь свой талант на твое исподнее? В мире есть кое-что поважнее. На! – Он кинул ей сверток алого шелка. – Свадебный подарок от меня. Больше ничего не получишь.

– Не нужно! – Эль-Мирра оскорбленно метнулась к выходу. Тетка за нею. Не забыв схватить на бегу шелковый алый отрез...

Омар больше не плакал. И не до смеха было ему. Эх, все неладно у нас. Неладно, нескладно. Отказаться, что ли, от плоти своей? Вступить в суфийскую общину, укрощать дурные страсти молитвой богу? Чтоб заслужить священное право на райских, потусторонних гурий?

Но ни на что такое Омар не способен. Та сторона есть та сторона, не наша. Сторона наша – эта. Будем на этой шуметь.

Сегодня ему не работалось. Еще бы! Уж какое тут творчество, при душевной-то неустроенности и растерянности. Суп и тот не сваришь без настроения...

«Сто динаров и три фельса!» – как говаривал туркмен Ораз. Неужто люди созданы только затем, чтобы или открыто, в бою, или скрытно, исподволь, в быту, уничтожать друг друга? Например: мужчина и женщина не могут жить врозь – и от совместной жизни проникаются такой взаимной «любовью», что он готов ее зарезать, она его – отравить. Тьфу!

С восходом солнца Омар вышел в свой небольшой уютный садик за ручьем у ограды. К полосе возделанной земли с жасмином и лилиями, где на днях присмотрел для наблюдений большой муравейник. Нет порядка и мира в отношениях между людьми – так хоть полюбуемся строго налаженной жизнью благородных насекомых...

В этих краях муравьи не насыпают над поселением мусорных куч, как в лесах. Черная дыра в твердой серой земле над сухой оросительной канавой, вокруг отверстия – россыпь серой, мелко искрошенной земли, вынутой снизу: это и есть вход в муравейник.

«Нашли место, – подумал с досадой Омар. – Как только в канаву поступит влага, у них случится потоп. Будут метаться, яйца спасать, наверх поднимать, но схлынет вода, просохнет дыра – вновь ползут в ту же дыру. – Непредусмотрительность муравьев не вязалась с их известной сообразительностью. – А впрочем, разве не так и у людей? Их дома разрушает землетрясение. Вулканы лавой заливают, ураганы сметают, наводнения смывают, – они опять и опять возвращаются в ту же долину. Упорство, смелость? Глупость. Она обходится дорого. Ведь тысячи гибнут...»

Обычно Омар, поставив под ивой скамеечку, просто сидел и смотрел, как копошится живой и подвижный муравьиный народ. Смотрел, не вникая в суть бесконечной этой возни.

Его отношение к муравьям было таким, как у всех: уважительным, с примесью удивления и восхищения разумным устройством их жизни.

Люди всегда видели в муравьях себе подобных, в баснях и сказках муравей – мудрый и честный работник.

Но сегодня внимание, обостренное нервным напряжением, открыло Омару иное...

Видно, они углубляли свое подземное жилище: вылезая один за другим из черной дыры, муравьи, крепкие, черные, выносили в челюстях крошки земли и небрежно ссыпали тут же, на береговой откос канавы.

На откосе вырос, подобно галечной осыпи в горах, уже довольно широкий и длинный язык сухой измельченной земли. И кучка муравьев-охотников тащила вверх по сыпучему склону жирную гладкую гусеницу, еще живую. Она медленно извивалась, вяло сопротивляясь. Склон был довольно крутым, муравьи часто срывались, катились вниз вместе с добычей, – и вновь упрямо и бестолково лезли по осыпи вверх. Хотя стоило им обойти эту осыпь, они бы уже давно доставили гусеницу куда следует.

Сизифов труд! Одни, мешая друг другу и сталкиваясь на бегу, без толку, вовсе не к месту, насыпают гору земли, другие, впустую тратя усилия, без смысла ползают по ней.

Омар заметил одного муравья, который лихорадочно, с весьма деловитым видом, сновал вокруг, принимаясь вроде помогать собратям, волокшим бревна – травяные стебли, и неумышленно сталкивал их под откос вместе с грузом. Приглядевшись, Омар увидел немало таких «трудяг», что носились туда и сюда, сломя голову, с явной готовностью что-то сделать, и ничего не делая, хватаясь за дело, и тут же его бросая...

Но работа в общем все же налаживалась. Омар убедился: один муравей сам по себе – ничто. Он ничего не решает. Раздави его ногой – семейство едва ли заметит утрату. Ибо их – масса. И все на одно лицо. Несмотря на то, что разделены на солдат, рабочих и прочих.

Да-а. Если и есть между людьми и муравьями какое-то сходство, с печалью отметил Омар, то именно в этой бессмысленной суете. Ради чего? Все то же накопительство, скопидомство, одна страсть – вдоволь поесть.

Раз в жизни у них отрастают крылья – в пору любви. И что же? Самцы, исполнив обязанность, вскоре околевают, и толстая самка, укрывшись в темноте, в глубине муравейника, без конца, день-деньской откладывает яйца. Сотни яиц, горы яиц. Она даже не видит своего потомства, – к яйцам приставлены няньки...

И плодятся, плодятся муравьиное племя. Зачем? Говорят, они делают доброе дело: истребляют вредных насекомых, спасая этим растения.

Да, но ведь сами-то они не знают, что своей дикой прожорливостью помогают жить человеку! У них нет конечной цели, их замкнутый круг – жрать и плодиться. Вся налаженность, четкость, осмысленность их образа жизни – одна лишь видимость.

Нет, не следует сравнивать муравья с Человеком. И Человека – с муравьем. Стыдно. Очень плохо, если люди похожи на муравьев.

– Конюшни у тебя, конечно, нет. Куда же мы поставим лошадей?

– Пусть побудут на улице. Если вы не собираетесь тут ночевать.

...Имам квартальной мечети впал в растерянность, когда жена рассказала ему об Омаре с Эль-Миррой. Омар – не простой человек, к нему не подойдешь с обычной меркой. Особый случай. Ничего не придумав, имам с дрожью в сердце отправился к городскому судье Хусейну ибн Али ибн Микалю:

– Я с ним не справлюсь! Ибо не очень... начитан, он же, по слухам, знает Коран наизусть.

У судьи до сих пор кровоточила в душе глубокая рана от убытка в две тысячи динаров, причиненного ему Омаром при бывшем визире Иззе аль-Мульке. Наконец-то выпал случай отомстить! Но все следует сделать без шума, тихо, с оглядкой. С таким, как Омар Хайям, нужна осторожность. Мало ли что. То он в самом низу, то – на самом верху...

Хусейн велел слуге оседлать лошадей. Имаму предложили лошадь слуги. Слуге

пришлось идти пешком в такую даль. И в пути его не раз подмывало желание схватить тщедушного старичка за ногу и стащить наземь...

Так они встретились вновь, судья и поэт.

Омар поставил перед гостями поднос с прошлогодними гранатами, — они хорошо сохранились в прохладном подвале.

Хусейн ибн Али ибн Микаль на редкость доброжелателен, теперь он явно расположен к Омару.

— Уютно, — окинул он сказочный дворик веселым лучистым взглядом. И взял с подноса самый крупный и спелый, с темно-красной кожурой в желтых пятнах, гранат. — Сразу видно, что здесь живет поэт. — И уточнил: — Большой поэт. С воображением.

«Может быть, он человек сам по себе неплохой, — подумал Омар, тронутый его приязнью. — Ремесло паскудное его испортило».

— Только, — вздохнул судья, с недоумением вертя в руке тяжелый плод, словно не зная, как за него приняться, — как-то... не то, чтобы скудно, а скупно живешь. Купил бы лошадь, что ли, себе...

Молодость беспечна и расточительна.

Зрелость рождает страсть к приобретательству.

Старость — к накопительству. То есть тогда, когда человеку, собственно, уже ничего не нужно, кроме савана и маленького участка на кладбище.

Странно устроены люди!

Но в их глазах самый странный человек в Нишапуре — поэт Омар Хайям...

— А зачем она, лошадь? — удивился Омар.

— Ну... быстрее доехать до места. — Судья крепко, но осторожно, чтоб не порвать кожуру раньше времени, обхватил гранат и нажал сквозь кожуру большим пальцем на твердые зерна.

— А зачем спешить?

— Не зря тебя прозвали «Господином Зачем», — улыбнулся Хусейн. — Как зачем? Жизнь заставляет сокращать дорогу.

— А разве в дороге — не жизнь? — пожал плечами Омар. — Жизнь — сама дорога. И спешить, сокращать дорогу значит сокращать жизнь. Никуда не спеши — никогда не опоздаешь. С лошади не все увидишь. Какая радость: не торопясь идти пешком, останавливаться у каждого ручья, слушать, как он журчит, смотреть, как живописно навис над ним тенистый куст, как с щебетом порхает по кусту пичуга. Небо, поле, бугор. Как хорошо посидеть в харчевне у воды, под плакучими ивами. И сколько встреч на этой дороге! Разве, мчась на коне, сумеешь заглянуть в глаза прохожему? Перемолвиться с ним словечком? Это и есть жизнь. Куда спешить от нее? Живи тихо, спокойно, без суеты, — дольше будешь жить. Все равно дальше могилы не ускачешь.

Хорошо, если платье твое без прорех.
И о хлебе насущном подумать не грех.
А всего остального и даром не надо —
Жизнь дороже богатства и почестей всех.

И еще:

Где теперь эти люди мудрейшие
нашей земли?
Тайной нити в основе творенья
они не нашли.
Как они суесловили много
о сущности бога,
Весь свой век бородами трясли —

и бесследно ушли...

– Это так, – вздохнул Хусейн. – Но, скажем, лошадь нужна человеку для представительности.

– Худо, коль человека представляет конь верховой или скажем, осел...

– Ох уж эти поэты! – Гранат, размятый костлявой сильной рукой Хусейна, обвис, как тряпичный кошель. – Их не переспоришь. Но мы не за этим сюда явились. Знаешь, зачем, «Господин Зачем»?

Омар, конечно, сразу догадался, из-за чего пришли эти двое. Но все же сказал:

– Нет. Ума не приложу. Я думал: просто так, провести.

– Судья не посещает людей просто так. – Хусейн ногтем надорвал кожуру граната и выцедил в чашу рубиновый сок. Он почти наполнил ее: вот какой выбрал сочный гранат. – Есть важное дело. На тебя поступила жалоба от жителей вашего квартала. – Хусейн поднес чашу ко рту. – Говорите, почтенный, – кивнул он имаму.

Имам, до сих пор скромно сидевший, в сторонке, произнес с торжеством, предварительно откашлявшись, как перед проповедью в мечети:

– Ваша милость, э-э, соизволили... э-э... соблазнить девицу, живущую с вами по соседству. – Был он жалким, пропахшим потом и грязненьким.

«И этому слизняку я должен был, по шариату, поцеловать при встрече руку», – подумал Омар с омерзением.

– Соблазнить? Ха-ха! Слыхали старый анекдот? Один спросил: «Может ли мужчина сделать насилие над женщиной?» – «Может, – ответил другой. – Если не успеет убежать от нее». Уж тут – кто кого.

– Все равно. Сожительство без брака – прелюбодеяние. Прелюбодеяние – грех. А грех, по шариату, уже преступление.

– Преступление, – подтвердил судья. И осушил чашу с гранатовым соком до дна. – За такое преступление мусульмане, собравшись толпой, могут побить виновного камнями.

– Но, чтобы загладить свой грех, я готов жениться на ней! Почему вам непременно нужно отдать Эль-Мирру этому дурачку? Она с ним пропадет. Отдайте мне, я хорошо заплачу, и делу конец, к всеобщему удовлетворению. Чем я ей не пара? Волосы поредели, лоб оголился? Но сколько мы видим на улице плешивых бойких молодцов. Зубы потемнели от вина? У каждого второго юнца нет половины зубов. Хоть они и не пьют вина. Кожа на локтях немного сморщилась? Это видно, когда выпрямишь руки; согнешь – она натягивается и становится гладкой. На лице появились морщины? Что поделаешь. Жаль, что лицо стареет раньше души и тела...

– Нельзя, – покачал имам головой. – Хаким из порядочной семьи. А ваша милость – человек с пятном. Возьмет Эль-Мирру он, это будет благопристойно. Возьмете вы – возникнет смута в умах прихожан, что недопустимо.

– Где и какое пятно вы узрели на мне, почтенный? – вскипел Омар.

Священник унылым взглядом обратился к судье за помощью.

– Ты, – разъяснил судья терпеливо и мягко, берясь за второй гранат, – со своим особым положением, просто не знаешь исламской общины. Видел форму для отливки сырцовых кирпичей? Кирпичей – великое множество, форма – одна. Так вот, в квартале все, что не лезет в одну эту общую форму, короче, все, что необычно, то подозрительно и потому опасно. Каждый должен ходить, одеваться, есть, думать и говорить, ложиться с женой, посещать отхожее место и совершать омовение точно так же, как все. Ничем не отличаясь от других. Только так и не иначе! И никаких раздумий, сомнений, в противном случае в мире наступит хаос. А ты все делаешь по-своему. Ты в квартале вроде прокаженного...

– Понятно, – кивнул с печалью Омар.

– Ты здесь чужой, – добавил Хусейн.

– Странное дело! – вскричал Омар. – Почему я чужой у себя, в своей собственной родной стране? Я здоров ее здоровьем и болен ее болезнями. И все же – чужой для арабов,

чужой для иранцев. Для тюрок – тем более. Чужой для царей, для обывателей – тоже. Черт знает, на что все это похоже! Может, скажете, я в стихах учу убивать, обманывать, грабить? Унижать человека? Угнетать человеческую мысль? Притеснять человеческую личность? Зову к измене и вражде, к подлости и раболепию? Наоборот! Я своим каждым четверостишием говорю человеку: «Будь справедлив, добр и разумен. Горд, независим и честен. Свободен от страха и предрассудков. Не унижай и не унижайся. Уважай в себе и других человеческое достоинство».

Если я бичую людей, то отнюдь не из ненависти к человеку, а затем, чтобы открыть им глаза на самих себя и помочь подтянуться до уровня мыслящих существ.

– Поэтому и чужой, – кратко сказал судья.

– Все это блажь. – Омар устало махнул рукой. – Я свой всему Востоку. И всему Западу тоже. Всеми миру! Это вы – даже сами себе чужие.

– Мы можем, – строго объявил имам, – ославить тебя в мечети перед толпой и выселить из квартала. – Чувствуя поддержку судьи, он осмелел.

– Выселить? – Омар оскалил зубы. Его уже мутило от этой дурацкой беседы. – Попробуйте! Я найду на базаре за две с половиной тысячи золотых шайку джаванмардов и поставлю их дом стеречь. Слыхали о таких?

– Это те, у которых ножи в два локтя длиной? – побелел судья.

– Вот именно. И не короче. – Омар взял линейку, метлу и показал на ее черенке, какой длины стальной джаванмардский нож. – Сразу двух тощих судей можно проткнуть. И плюгавого имама квартальной мечети в придачу. Знаешь анекдот про судью и пройдоху? Один святой человек привел к судье пройдоху и говорит: «Он мне должен триста динаров, но не отдает». Пройдоха держит руку за пазухой, халат оттопырен, там что-то большое. Может, слиток золотой. Судья смекнул, что ему будет больше пользы от пройдохи, и вынес решение в его пользу.

Когда обиженный святой ушел, пройдоха сказал судье: «Хорошо, что ты вынес решение в мою пользу, а то бы я проломил тебе голову». И вынул из-за пазухи тяжелый камень...

– Ну, зачем же... так резко, – сказал Хусейн миролюбиво. – За те же две с половиной тысячи ты можешь откупиться от пострадавших.

– Разве не я – пострадавший?

– Тысячу мы отдадим тетке несчастной жертвы.

– Несчастной? Хе. Впрочем, и впрямь она – жертва. Но не моя, а ваша. Ваших жестоких обычаев.

– Другую матушке жениха, которая согласилась прикрыть ваш грех.

– Да-а. Вполне «порядочное» семейство...

– И по двести пятьдесят возьмем себе за труды.

– Не морочьте мне голову! Будто я не знаю вас. По тысяче с ним, – поэт кивнул на муллу, – вы возьмете себе, а тем дадите по двести пятьдесят золотых. Если дадите. Но это меня не касается. Делитесь, как хотите. Главное: если я заплачу, вы меня оставите в покое? Вы и ваш благословенный квартал, – ох, чтоб его подземным толчком в пух и прах разнесло! Мне нужно работать. Писать.

О боже! Как он устал, как все это ему надоело...

– Работай, себе на радость. И государству на пользу.

– Готовь расписку, мошенник! Не сок гранатовый пьешь – кровь мою пьешь. Посидите тут во дворе. Пока я схожу к саррафу-меняле, у которого деньги держу. Дома – боюсь. Знаем вас. Много вас...

Он ушел к саррафу, заперев предварительно в доме дверь на замок. Замок, хоть и деревянный, крепкий – и хитрый. Это внутренний засов. Ключ – палочка с шипами, расположенными в определенном порядке, вставляется в щель, скрытую в резных узорах двери. Зубья его попадают в соответствующие отверстия запора и поднимают штифты, после чего, просунув руку в особое оконце, можно отодвинуть засов. Разгадать секрет запора

невозможно, ключ к такому замку не подберешь.

Оконные ставни он тоже сначала закрыл изнутри на крюк. Не хватало еще, чтобы эти законники рылись в его «Книге печали». Омар не забыл, как в Самарканде дворецкий Юнус решил ни с того ни с сего сжечь его рукопись. По дороге поэт, не утерпев, завернул к харчевне «Увы мне». Душа разрывалась на части, эти части густо дымились. Их следовало залить вином.

Хищницы! Будьте вы прокляты с такой вашей любовью...

Сами, дуры, только и рыщут, ищут, перед кем бы распустить павлиний хвост. Где былая девичья скромность? Влипнет в историю, а ты – отвечай. Ну, попробуй теперь какая-нибудь к нему сунуться с розами...

Мимо прошло, звеня ножными браслетами, некое стройное диво в чадре. По легкому шагу и гибкому стану определил Омар – молода. Поэт не выдержал:

– Ох! Ох, до чего же статна! Но лицом, должно быть, безобразна, а то б не скрывала его под чадрой.

Она обернулась, на миг откинула чадру, – и Омар обомлел, увидев прекрасные, гневно-веселые очи. Н-да-а...

Ты сердце бедное мое, господь, помилуй,
И грудь, которую палит огонь постылый,
И ноги, что несут меня в кабак,
И руку, что вздымает кубок милый.

От мудрости, как видим, нету прока:
Вот круглый дурень, – он любимец рока.
Так что ж? Давай глупеть! Эй, принесите
Кувшин мутящего наш ум хмельного сока...

Судья в темно-коричневой накидке и красной феске, перевязанной зеленым платком, торжественно подступил к двери, завешенной цветным пологом, выразительно откашлялся и постучал пальцами по косяку.

– Кули, наам, анта вакили! – произнес он звучно по-арабски условную фразу. И, помедлив, перевел ее на фарси: – Скажи: «Да, ты мой представитель».

Кто тут знает благородный арабский язык? И начал с него судья лишь для пущей важности. Чтобы все убедились что Хусейн ибн Али ибн Микаль недаром получил свою долю из отступных от Омара Хайяма. И еще раз преисполнились благоговением оттого, что сам городской кадий, большой человек, не какой-нибудь квартальный заморыш, осчастливил два эти семейства своим высоким участием в обряде помолвки.

На террасе дома швей, на новом войлоке, приобретенном ради такого случая, расположились за скатертью жених с друзьями, имам, отец жениха, соседи-свидетели.

За дверью, ведущей в комнату, за узорчатым пологом, укрылись женщины. Жена хлебопека ткнула Эль-Мирру в спину огромным своим кулаком, и девушка тихо ответила:

– Да, ты мой представитель.

Что означало: она дает согласие выйти замуж и поручает судье заключить от ее имени брак.

– Скажи: «Да, ты мой представитель».

– Да, ты мой представитель.

– Скажи: «Да, ты мой представитель».

– Да, ты мой представитель!!!

– Скажи: «Да, ты мой представитель».

– Да... ты мой... представитель...

Обряд весьма похож на издевательство. Четырнадцать раз, чтобы не оставалось никаких сомнений, должен судья произнести эту формулу шариата, и столько же раз невеста

должна четко и внятно ответить на нее согласием.

У Эль-Мирры еще была возможность сказать решительно – «нет».

Но тетка-швея стоит за спиной с молотком. И жена хлебопека с огромным своим кулаком. И супруга имама – с ядовитым своим языком. Устала Эль-Мирра! Все было так радостно, тихо, укромно и сладостно, – и вдруг началась сумасшедше громкая жизнь. Скорей бы все это кончилось. И началось что-нибудь другое, более определенное. За Хакима, так за Хакима...

И Эль-Мирра все четырнадцать раз, то звонко, с вызовом, то хрипло, с отчаянием, то шепотом, давясь слезами, завершила судью:

– Да, ты мой представитель...

Тем самым навсегда отрезан путь к Омару.

Не в этом ли скрывалась ее тайна, которую Омар никак не мог разгадать? Старая, как мир, всем давно, кроме него, чудака-поэта, известная «тайна»: менять, – пусть после срывов, сомнений, метаний, тихих рыданий, громких стенаний, а то и запросто, без долгих раздумий, по скудости ума, – трудное на легкое. Способность предать любовь ради душевного удобства и житейских выгод.

Впрочем, что же ей оставалось? Кому захочется в двенадцать лет быть до шеи живьем зарытой в землю, чтобы каждый прохожий мог плюнуть в глаза, грязью швырнуть, бросить камень...

Да, слишком громоздкой, колюче-сухой и шершавой «крошкой» оказался Омар для горлышка слабенького этого воробушка.

Нишапур – город большой и веселый. Богатый, торговый, ремесленный. Омар Хайям любил свой город. Смолodu он рвался из него куда-то, в края волшебные, которых нет, но теперь, под старость, не мог бы жить нигде, кроме как в голубом Нишапуре...

А город не любил его. Он угнетал Омара бестолковым нагромождением строений, шумом и суетой, грубостью жителей. Сорок кварталов, столько же рынков, крупных и малых, и десятки караван-сараев. Еще никто не знает о кара-китаях – чжурчженях, основавших на Дальнем Востоке империю Цинь – Золотую. От них суждено пасть государству Сельджукидов, разгром которого довершат гузы из окрестностей Балха. Нишапур будет ими дочиcта разграблен и сожжен.

И разрушенный город превратится со временем в захудалое поселение. Все бесследно исчезнет, все пропадет.

Где высился чертог в далекие года
И проводила дни султанов череда,
Там ныне горлица сидит среди развалин
И плачет жалобно: «Куда, куда, куда?»

Дескать, куда все девалось. Правда, это случится еще не скоро, через долгих шесть десятилетий. Хотя исторически – очень скоро, через жалких шесть десятков лет: что значат они для истории, имеющей дело с эпохами, эрами, мимолетных полвека?

Но никому пока что ничего неизвестно. Пока что сытой, благополучной жизнью живет в лучшем дворце Нишапура, за алебастровыми узорными решетками окон и террас, окружной правитель, тюркский эмир-сепакдар – военный начальник. Он прибрал к рукам самую жирную землю в долине и обильные травой луга в соседних горах

И рядом с ним вкусно едят, сладко пьют другие знатные тюрки из военно-служилого сословия. Тоже иктадары то есть владельцы пожалованных им царской властью сельских земельных угодий, городских строений и ремесленных заведений. Кое-что перепадает их слугам и, конечно же, воинам.

Пирует во дворце чуть поменьше хаким – городской правитель из местных дехкан, богатых землевладельцев. Он верой и правдой служит тюркам. Ибо это выгодно ему. И

жмутся поближе к хакиму чиновники всех степеней из коренных грамотных жителей. А так же орава их ненасытных слуг, переписчиков и рассыльных.

В мечетях, соборных и квартальных, возносят молитвы о благополучии этих правителей, их приближенных и всей державы Сельджукидов сеиды – «потомки пророка», и ходжи – «наследники» первых четырех праведных халифов. И много других священнослужителей рангом пониже – шейхи, имамы и прочие.

И небо щедрой рукой посылает им доходы с вакуфного, то есть приписанного к мечетям, медресе и монастырям, разнообразного имущества, порой весьма и весьма солидного.

Чьи руки трясутся, перебирая под звуки тягучих и страстных молитв, доносящихся из мечетей, тисненные золотом сафьяновые чеки? Это крупные негоцианты, отирая со лба горячий пот, но вежливо, благопристойно, не повышая голоса, заключают между собой сделки на сотни тысяч динаров. И торговцы поменьше, все с той же лихорадочной дрожью, но с криком и бранью, звеня медяками, сверкая глазами, занимаются мелкой куплей-продажей...

И где-то под ними, в дымных, пыльных, узких мастерских, – город тесен, – без устали, день-деньской, копошится разный ремесленный люд.

Прежде всего – кузнецы. Топоры, мотыги, лопаты, серпы. Замки и подковы. Ножи и ножницы, иглы, гвозди, цепочки и кольца для дверей. Стамески и долота для резчиков по дереву и алебастру. Это все – изделия мастеров по обработке металла.

В литейнях, в горячем чаду, из меди и бронзы создают котлы и тазы, сковородки, жаровни, чернильницы. Колокольчики и стремена. Ювелиры, не разгибаясь, куют на крохотных наковальнях серьги, кольца, браслеты, чеканят кувшины, подносы, блюда и чаши. Рядом с ними точат цветные камни гранильщики и шлифовальщики. А дальше, подслеповато щуря глаза, орудует большой иглой неустомимый шорник.

Прядильщики прядут, ткачи ткут, швейники шьют, кожевники кожи мнут. Много чего человеку нужно в хозяйстве. Как проживешь без сита и скалки? Тебе сделают их. Есть маслоделы, мясники и мельники. Водоносы, повара, кондитеры, и даже колокольчики орехов и фисташек...

То есть, все те, чьим трудом живет сверху донизу весь Нишапур. Город без них перестал бы существовать. Ибо правителям не с кого было бы взимать налоги, священнослужителям – некого вразумлять, торговцам – нечем торговать. И вора́м – нечего красть.

Но для всех вышестоящих трудовой этот люд – фукаро – простонародье...

Омар перестал ходить от стены к стене, взял Рудаки, «Оду на старость», полистал и с отвращением бросил назад, на полку в нише. При этом поэт больно ударился костяшками правой руки о раскрытую створку резной деревянной дверцы и злобно скривился. Э, ну вас! Не до книг. И вновь он пустился в свой бесконечный путь от стены к стене. От стены к стене. От стены к стене...

Замечено: человек с мыслями, отдыхая, сосредоточенно ходит взад и вперед, заложив руки за спину, чтобы они ему не мешали. Он думает. И может ходить так часами.

Человек без мыслей, не зная, чем себя занять, что-то ломает, рвет, мнет, крошит и бросает. Чтобы хоть чем-то заполнить пустоту в голове. Эта пустота опасна. Она высвобождает в нем его животное начало, побуждающее выть, зевать или мычать.

Или, хуже того, резать, насиловать, жечь. Нет ничего страшнее пустоты в человеческой голове. А таковой еще немало! Разве не от нее люди хватают людей и заставляют их делать то, чего не умеют, вернее – не хотят делать сами? Возьмем несчастных рабов. Много их в Нишапуре. Правда, судьба не у всех одинакова.

Крепких юношей – гулямов – передают в столицу, служить в охранных войсках. Жизнь у них, можно сказать, завидная. Гулямы близки к царю (или царице), они могут занять при дворе высокое положение. Что резко отличает их от невольников, принадлежащих частным лицам.

Эти льют пот на стройках, роются в рудниках, копают могилы – дело позорное. Они ухаживают за лошадьми и охотничьими собаками, служат в качестве поваров, привратников, дворников, охраняют хозяина, стерегут его добро. Есть среди них музыканты, певцы. Раб умный годится для обучения грамоте и ведет переписку, учет господской казны

Существуют особые наставления, как выбирать рабов при покупке, по каким внешним признакам можно судить об их характере и способностях, как обращаться с ними. Например, рабы из татар, кочевых ягма и аланов отличаются храбростью. Византийцы вежливы, деловиты и воздержаны на язык. Армяне строптивы и склонны к побегам. Ну, а рабынь, особенно молодых и хорошеньких, держат известно для чего...

Такова она с виду, жизнь большого восточного города. Но есть в Нишапуре и тайная жизнь. Жизнь бродяг и блудниц, наемных убийц и лжесвидетелей. Эти по своему состоянию даже ниже рабов. У тех хоть пристанище есть, есть хозяин и скверный, но верный кус хлеба...

В городе расположились всевозможные братства – срезальщиков кошельков, танцоров, нищих со своими уставами и обрядами. Особое место занимает братство джаван-мардов – «благородных».

Джаванмард, как утверждают, мужествен, смел, терпелив во всяком деле, выполняет обещания, целомудрен, чистосердечен, никому не причиняет вреда, допускает к себе ради выгоды друзей своих, на пленников не посягает, нищих одаряет, злых удерживает от злых поступков, говорит только правду, правдивое слушает, воздаст должное, за столом, где ел хлеб, зла не творит, злом за добро не оплачивает, ведет добрые речи...

Хм... Зачем же тогда им ножи в два локтя длиной?

Об этой тайной жизни мало кто достоверно знает, – лишь те, кто причастен к ней. И уж вовсе никто, кроме Омара, не знает, что в бедной части города, на пустыре, в мусорной куче, скрыты жемчужины, подобные Эль-Мирре. Если же кто и узнает, то сразу подымет страшный визг – и сообщая с братьями по вере втопчет назад, в мусорную кучу. Сколько их вот так пропало, несбывшихся поэтесс.

Недолог розы век! Чуть расцвела – увяла,
Знакомство с ветерком едва свела – увяла.
Недели не прошло, как родилась она,
Оковы разорвала и увяла...

Эх, тоска! Омар, не зная, куда себя девать, взял непочатый кувшин вина и побрел к Сафару, соседу справа, художнику-миниатюристу. Они нередко встречались в харчевне «Увы мне», иногда забежали друг к другу домой, выпивали по чаше.

Художник – тюрк из огузов, но шиитского вероисповедания, а это направление ислама отвергает запрет на изображение живых существ.

Он сидел за огромным высоким столом, каких не бывает в обычных домах, у обычных людей. Перед ним, как цветы на лугу, – медные чашечки с краской: белой, синей, зеленой, желтой, красной и черной. Сухими прямыми веточками торчат из ваз тонкие кисти.

Слева кувшин с водой, справа, под бронзовым прессом, стопка плотных бумажных листов. Под рукой – только что начатый серый рисунок.

На маленьком столике сбоку просыхают готовые миниатюры Кипы рисунков, набросков, старых миниатюр лежат на полках, на полу, нанизаны на гвозди в стенах.

Тут ярко, весело – и уютно. Как в осеннем саду, когда идет листопад...

– По какому случаю? – кивнул художник на кувшин, принесенный Омаром. И с готовностью отложил в сторону начатый лист.

– Соседку, родственницу, замуж выдаю, – мрачно сказал Омар.

– Слышал. И на свадьбу зван. Но она же – тюрчанка? А ты перс.

– А где ты видел в Иране и Туране чистокровных тюрков? Те далеко, на Алтае. Эти – перемешались. С хорезмийцами и согдийцами, с персами, индийцами, арабами. И бог весть

еще с кем. Пестрый народ. Словом, сарты. Я прихожусь ей двенадцатиюродным дядей.

– Что же ты такой невеселый?

– Сейчас. – Омар снял с полки две расписные чаши из обожженной глины, наполнил их темным вином.

– Ну, дай ей бог! – вскинул чашу художник.

– Дай бог.

– Очень кстати, – любовно, как женское бедро, огладил ладонью художник крутой бок хмельного кувшина. – Устал. Канительная работа. Много возни. – Он деланно-небрежно махнул рукой на листы, явно желая, чтобы Омар их посмотрел.

Поэт взял один из листов, весь золотистый, яркий.

На рыжевatom береговом откосе, на крутом блекло-зеленом выступе, поросшем редкой травой и красными и белыми цветами, сидит, подогнув колени и по-восточному сунув руки в рукава, задумчивый старец в белой чалме и голубом халате. Рядом с ним – собеседник в зеленой одежде. Ниже, у воды, двое в красных кафтанах, с кайлами в руках, рушат скалу. Фигуры расположены продуманно: две верхние на одном уровне, один из землекопов – прямо под ними, второй – в стороне от первого, правее и выше. Живописная асимметрия.

Небо над красновато-рыжими буграми – темно-синее, почти черное, с густой прозеленью. Оно резко оттеняет светлую пустоту этих округлых бугров и перекликается с неяркой зеленью утеса, где сидят старичок с собеседником.

Алые кафтаны землекопов хорошо вписываются в знойный фон берегового откоса. Зеленая рубаха на том, который справа, в сторонке, одного цвета с одеждой собеседника мудрого старца, его голубые штаны сочетаются с голубым халатом самого мудреца. К тому же халату перекрестно притянута голубая рубаха землекопа, работающего слева, под утесом. Белые и красные цветочки на утесе дополняют белый цвет головных повязок и ярко-красный цвет кафтанов. Все цветовые пятна великолепно увязаны между собой, уравновешены, у рисунка цельный, вполне законченный вид.

Мастер! Иного слова не подберешь.

– Это кто же такой? – спросил довольный Омар.

Старичок в белой чалме и голубом халате благообразен, приятен, внушает доверие и расположение.

– Искандер Зулькарнайн, – ответил Сафар притворно-пренебрежительно. – Готовится к переправе через Сейхун. Окружной правитель Аргуш заказал для сына писцу-каллиграфу Осману, который живет напротив тебя, через улочку, отдельной книгой часть «Шахнамэ» о его деяниях.

– Каждая пешка прочит сына в Искандеры, и никак не меньше, – усмехнулся Омар. – Вот увидишь, появится в наших краях еще один Двурогий.

– Ну, это их дело! Осман попросил меня украсить книгу рисунками. Я рисую.

– Искандера? – пожал плечами Омар. Опять все то же. Все приблизительно, все относительно. Близко, но мимо. Туманно похоже – и совсем не похоже... – Не самая лучшая часть в «Шахнамэ», – сухо сказал Омар.

– Как? Ведь это – Фердоуси!

– Ну и что? Нет бесспорных книг. Даже у Фердоуси не все бесспорно. И даже у Амида Камали, – не преминул заметить Омар ядовито. – Слышал о таком? Не слышал. Тем не менее, он «эмир поэтов» при Сельджукидах. А тут что происходит? – взял поэт другой красочный лист.

В лиловой колючей пустыне с пыльным охристым небом столпились воины в длинных халатах и высоких островерхих шлемах. В середине круга кто-то, упав на колени, печально склонился над кем-то лежащим.

– Здесь Искандер находит на поле боя царя Дария, убитого своими приближенными, – ответил Сафар неохотно. Самомнения у него поубавилось.

– Нет, братец, – вздохнул Омар. – Это не Искандер Зулькарнайн. Не Александр Македонский. Это выдуманный Искандер. Не был он никогда святым старичком! Видишь

ли, он жил задолго до пророка.

– Как – до пророка?

– Ну, пророка тогда еще не было.

– Как это – не было?

В мастерской стало мрачно, невесело, зябко. Как в зимнем голом саду с черными и мокрыми от дождя ветвями.

– Ну, не было его еще. И мусульман в ту пору не было.

– Не может быть!

– Пророк, да будет тебе известно, родился чуть ли не через тысячу лет после Искандера Зулькарнайна.

– Но... но ведь Искандер Зулькарнайн... сам был пророком, ниспосланным в этот мир до Мухамеда? – вскричал возмущенный художник.

– Нет. Никакой он не пророк, защитник справедливости и охранитель законности, каким его изображает Фердоуси. Он был громилой, захватчиком. И чалмы не носил. Молодой, краснолицый, рыжеволосый и пьяный язычник, умерший тридцати трех лет от роду. А ты представил его с белой бородкой, в голубом халате. Это все – неточно, потому и недостоверно. Знай: достоверность на картинах и в книгах достигается неукоснительной точностью деталей. Говорят, по изображениям на римской колонне императора Траяна можно до мельчайших подробностей изучить снаряжение, оружие и военный быт его времени.

Омар снова взял первый лист. Жаль. Сделано бесподобно! Но сколько сил затрачено впустую...

– Юнаны (греко-македонцы) одевались по-своему. Они носили короткие, до колен, хитоны, сандалии. А у тебя они здесь, – он показал второй рисунок, – в длинных халатах, в сапогах с кривыми носами. Неправильно! – Омар с досадой бросил листы. – И шлемы у них были гребенчатыми, а не островерхими. У твоих – кривые сабли, но сабель в те времена еще не было. Их изобрели, вместе со стрелами, гораздо позже ваши же турки.

– Но ведь... у нас так принято их рисовать, – скис Сафар.

– У массагетов, древних жителей хорезмийских пустынь, было принято своих стариков, доживших до семидесяти, убивать. Что же, и нам следовать их примеру? Никогда жизнь не сдвинется с места, если мы будем делать только то, что принято...

Омар сплюнул, заложил руки за спину и вновь двинулся в свой обычный путь от стены к стене. От стены к стене...

– Лестно, конечно, изобразить великого Искандера мусульманским святым! И Аристотеля, его учителя, скажем, турком из Шаша. Чтоб тем самым возвысить тюркский народ. Но история не терпит натяжек! – Омар стиснул кулак. – История сурова! Она кровава. Ее надо точно знать. И нельзя улучшать, приукрашивать, облагораживать в угоду нашему веку, не менее суровому и кровавому.

– Тюркам, братец, – сказал Омар назидательно, – и без того есть чем гордиться. – У них своя богатая история.

– Но эмир Аргуш меня засмеет, если я нарисую царя Искандера с голыми ногами, в юбке до колен. И в шлеме с петушиным гребнем.

– Ну, если все дело в том, чтобы ублажить Аргуша и заработать денег, нарисуй Искандера в лохматой туркменской папахе. Точно в цель попадешь.

– Было, не было... – Сафар сердито сложил листы и кинул их на полку. – Но бог-то был, всемогущий, единый, объясняющий все?

– Эх, братец! Вот его-то и не было никогда...

Сафар проводил соседа чуть ли не с ненавистью.

Побеседовали... Трах в прах! Омар жалел, что пустился с ним в откровенность. Ведь уже давно научился скрывать свои мысли! А тут – прорвало. От вина, что ли? Нет, не от него.

Не вино делает человека болтуном, дураком или преступником. Оно лишь выявляет в

нем того, кто сидит внутри от рождения или воспитания: в наглеце наглеца, в подлеце подлеца. В скромнике – скромника, в умнике – умника. И в злоязычнике – злоязычника...

«Да-а, неудобный, вредный я человек! И чего я все придираюсь к людям? – корил он себя, возвращаясь домой. – Чего я лезу ко всем с неуместными замечаниями? «Это не так, это не сак. Зачем, почему?» Чего я бунтую? Бедняге надо жить, и за деньги он готов подать Александра не только в образе святого старичка, но и в виде полногрудой девицы, жрицы богини Астарты, – тем более, что царь в мистериях, посвященных этой сирийской богине, охотно надевал женское платье.

И пусть малюет! Мне-то что? Лишь бы понравилось заказчику.

Но ведь все беды на свете, – скрипнул зубами поэт, – от путаников этих малограмотных! Все перевернут с ног на голову. Это они насаждают в умах людей совершенно превратные представления о мире, о жизни, о событиях. Такого дыму напустят, – дай бог разглядеть, что позади, что впереди. Недолго споткнуться и угодить в яму со змеями.

Уж если берешься за тему, изволь сперва досконально ее изучить. Можешь не знать, сколько стоит горох на базаре. Ходить босой и в отрепьях. Есть черствый хлеб, пить сырую воду. Или вино, шайтан тебя заberi, хоть ячменную водку! – но к делу относись добросовестно. Читай, не ленись.

Вот один стихоплет из придворных превозносит в блестящей касыде... аромат мыла. Мол, символ чистоты и прочее. Он, видно, никогда не нюхал его! И знает понаслышке. А мы – нюхали».

У Омара, как и тогда, исказилось лицо. Из ноздрей, казалось, до сих пор не улетучилась вонь мастерской. Он вспомнил, как назло назойливым соседям продал свой старый дом мыловару, расхохотался – и беспечно махнул рукой на все на свете. В том числе и на Сафара-художника с его непохожим на себя Искандером. Бог с вами! Валяйте, честь вам и слава. Все проходит – пройдет и это...

Чем хороша у Фердоуси часть «Шахнамэ» об Искандере? Она хороша своей мыслью о том, что никакая возня, суета, походы, захваты, никакие земные блага, богатство и власть, самые что ни на есть баснословные, не в силах отсрочить назначенный человеку смертный час. Но вряд ли эмир Аргуш это поймет.

Едва открыв скрипучую калитку (петли надо бы смазать), поэт, под впечатлением ярких цветов на рисунках Сафара, бросил взгляд направо, на свой цветник у ограды.

И ахнул.

Тонкие стебли лилий пожелтели, поникли, колокольчики усохших цветов страдальчески обвисли. Листья жасминов, обычно толстые, плотные, пожухли, свернулись. Он давно их не поливал! Польешь – муравейник зальешь. Тьфу! И эта пакость – на нашу голову.

Омар склонился над муравейником. Тут что-то изменилось. Муравьи уже не метались без толку вокруг черной дыры в земле. Они ползли куда-то. Ползли целеустремленно, так сказать. Черная лента тянулась направо от него, в другой конец оросительной канавы. Омар, не разгибаясь, прошел вдоль нее и обнаружил другую черную дыру в земле.

Переселяются, что ли?

Он разглядел, что живая черная лента состоит из двух верениц: одна торопится от старого гнезда к новому, другая – навстречу ей, к старой дыре. Иные из тех, что бежали из старой к новой дыре, – не все, а немногие, – несли какие-то крохотные соринки. Обрато спешили пустые.

Похоже, это не общее переселение, – выселяется часть, которой стало тесно в переполненном старом гнезде. Угораздило же их опять выбрать место в низине, доступной воде. Нет, присмотреть высокий пригорок...

Муравьи из смежных верениц часто сталкивались лбами на ходу и, миг помедлив в полной растерянности, вновь разбегались. Или, быть может, соприкасаясь усами, они что-то

сообщали друг другу?

Ведь должен быть какой-то смысл в их беготне? Он стоял, склонившись, целый час, но никакого смысла, ему понятного, не мог уловить в их действиях. Неужели ради двух-трех жалких соринков на десять-пятнадцать особей затеяно это непрерывное двустороннее движение?

Ему напекло голову, она закружилась. Кровь прилила к лицу. Так-то вы спасаете растения? Если я не полью цветы, они и вправду погибнут...

Но Омар все стоял в той же позе, опершись о колени, оцепеневший, как бы замороженный этой чужой, с виду очень деятельной, но, по существу, тупой, сонной жизнью.

Ну и что? Ну, займете вы новую дыру в земле. И, расплодившись, пойдете искать другую. Освоите двор, город, округу. Всю страну, весь мир! Говорят, в черной Африке, переселяясь, несметные полчища муравьев покрывают леса и степи и уничтожают на пути все живое. От них нет спасения ни зверю, ни человеку. Даже слоны-исполины бегут, сломя голову. Сожрете все на земле, – кого будете жрать? Друг друга?

...Тем временем одно из самых бойких насекомых залезло по ноге ему под штаны – и укусило за самое нежное место.

Омар болезненно рывкнул, схватил мотыгу, широко замахнулся ею, как землекоп на миниатюре Сафара, – и одним ударом снес перемычку между ручьем и сухой оросительной канавой.

Вода жадно хлынула в канаву, с шипеньем всосалась в трещины, с яростью побежала до конца – и, успокоившись, стала медленно подниматься и заливать ложбину. На поверхности, вместе с грязной серой пеной и сухими опавшими листьями, закружились, мелко барахтаясь, муравьи.

Душа его осталась глухой к их беззвучным крикам о помощи. Но зато он чутким нутром уловил, с каким блаженством затрепетали корни в земле. Как дрогнули – и, сперва удивленно, затем благодарно, взглянули на него цветы. Тут он вдруг осознал, что растения тоже способны чувствовать. И, может быть, даже думать. Конечно, по-своему...

Степенные шаги, неторопливый говор. И громкие приветствия при входе. Затем завопила труба, зурна завизжала, затарахтел барабан. У соседей свадьба. У Омара тоже праздник:

Сегодня – пир. Я развожусь с женой,
Бесплодной дочкой Мудрости немой.
Какое счастье! На другой женюсь,
На пьяной девке – Бочке разливной.

Он забросил все свои записи в нишу, накрыл стол скромной скатертью, поставил кувшины с вином и водой, щербатую чашу, блюдо с закуской – и тихо веселился в одиночестве, всеми забытый и никому ненужный.

Когда умолкла музыка, он слышал во дворе у хлебопека довольное гудение мужчин, во дворе у швеи – жужжание женщин. Шашлыком вкусно пахнет, пряными специями. Они до отвала накормят нынче гостей, пекарь с женой. На Омаровы деньги...

Уже темнело. Он зажег сразу десять свечей, – пусть в доме будет светло и радостно.

Музыканты за оградой заиграли плясовую. Омар восторженно, сбросил домашние туфли – и пустился плясать босой на ковре. Плясал он отменно! С его-то врожденным чувством ритма. Строго держа стройный корпус, перебирая ногами в лад четкому ритму, щелкая пальцами и поводя плечами. Не метался по кругу, не прыгал, не кривлялся, не кувыркался, как иные чудо-плясуны. Это все – акробатика не имеющая к настоящему танцу никакого отношения. Настоящий танец – передача бурных движений души скупыми и точными движениями ног, рук и плеч. И сдержанной улыбкой. Для него достаточно места в три локтя шириной.

Жаль, некому было рукоплескать.

В хмельной башке зародилась озорная, каверзная мысль: что, если взять кувшин вина и заявиться на свадьбу? Поздравить хлебника, облобызать жениха. И сплясать на потеху всему честному народу. Он уже накинул свой лучший халат, но спохватился: «Нельзя! Будет скандал. Откупиться от них больше нечем. Денег осталось в обрез».

Скинул халат, сел на тахту. Может, лучше пойти к бессмертной старухе Айше? Золотой динар найдем на сей раз. Сколько хочешь готовых невест, полный цветник! И всегда они пахнут по-разному.

В день воскресный – мускусом мажутся, в понедельник же – амброй. Во вторник – миррой, в среду – геранью. В четверг умащаются лилией, в пятницу розой. В субботу, как правило, нарциссом. Да, девицы из того заведения разбираются в благовониях.

Сегодня, кажется, вторник? Удача! Будет другая Эль-Мирра...

Нет, уже поздно. Ходить по улицам ночью опасно. Не вылезай. Иначе вор нападет и ограбит, или то же самое сделает стражник. И вообще, ну их к шайтану. Со всем их благоуханием. Знаем, чем они пахнут на самом деле.

Писать свою книгу, серьезную, строгую, под грохот барабана он не сможет. Не то настроение. И не то содержание. Спать? Все равно не дадут. Что же делать? Эх, нехорошо! Нехорошо все это.

Он убрал вино с глаз долой. И вновь – от стены к стене. От стены к стене. От стены к стене...

У соседей затишье. И вдруг за оградой взметнулся к ясной луне пронзительный, чуть надтреснутый, страстный подростковый голос.

Незнакомый голос. И будто знакомый. Вроде Эль-Мирра поет – и не Эль-Мирра. Если она, то голос искажен. Отчего бы? А-а, ведь от песни голос меняется. Песенный голос не похож на разговорный.

Поет на дари. Она хорошо знает таджикско-персидский. И стихи на нем же слагает. Говорит по-тюркски только с тетей. Да иногда с ним, с Омаром...

Но это не свадебная песня! Погребальный плач. Одно из похоронных робае – четверостиший. Так в горах, где ислам привился плохо, вдова, печально танцуя по дороге на кладбище, отпевает покойного мужа:

Выйду, сяду я на камень,
вспоминаю про тебя,
Там, где ты ступал ногами,
позову, любя.
Позову тебя, но ты
промолчишь в ответ, —
И землей с твоей тропы
овею я себя...

Бесхитростно – и горестно. Отчаяние! Вот что исказило голос Эль-Мирры. И сделался он чужим, оставаясь родным.

Чего ты все ходишь и ходишь, как ишак в ярме на маслбойке? Беги! Сделай в жизни одно доброе дело. Хватай ее – и в горы, в Баге-Санг...

Рванулся было он к выходу, но у него подломились ноги. И упал, бессильный, у порога. Высокий, до звезд, порог Страшный порог. Не одолеть.

Поздно бегать! Возраст не тот.

«Ведь она предала меня», – вяло подумал Омар в свое оправдание.

Дали бы ему спокойно жениться на ней, – он и жил бы с ней спокойно и долго. Но скитаться больше не может. Устал. Только и остается ходить – от стены к стене. От стены к стене! От стены – к стене...

Рассвет. У соседей – свои заботы. Пока не проснулись родичи, оставшиеся ночевать, и вновь не собрались гости, что разбрелись по домам в поздний час, швея и жена хлебопека, тихо шушукаясь, вывесили на террасе белье Эль-Мирры с доказательствами ее девичьей «невинности». Все как положено! Правда, пришлось для этого ночью зарезать цыпленка. Убыток, конечно. Но на какой расход не пойдешь ради чести?..

Ну что ж, любовь приходит и уходит, а труд остается. Омар, как всегда, проснулся рано. Как всегда, было еще темновато, и Омар, как всегда, зажег свечу. Но утро оставалось сумрачным. Облака, что ли, набежали? Он выглянул в окно, – нет, небо ясное.

Почему же так темно? Пришлось засветить все вчерашние огарки. Голова гудит, в глазах резь. Вот еще один довод в «пользу» вина. Ладно. Пройдет. Это с нами случалось

Итак, «Книга печали»...

Я выверну в ней наизнанку ваш хваленый добропорядочный мир! Пусть вам станет стыдно за него. Если станет...

«Рассказ о Рудаки.

Мало у кого из людей одаренных жизнь начиналась так удачно. Уроженец горного селения, Абу-Абдаллах Джафар ибн Мухамед Рудаки с юных лет прославился, как замечательный певец и музыкант. Но прежде всего он был великим поэтом. Эмир Наср ибн Ахмед пригласил его в Бухару.

Сорок лет возглавлял Рудаки при дворе Саманидов плеяду талантливых стихотворцев и был прозван «Адамом поэтов». После него осталось сто тридцать тысяч двустихий. Двустихий добрых, умных, жизнерадостных. Лучшие из поэм – «Мать вина» и «Ода на старость». Это он разработал хорасанский новый стиль, простой и точный, доступный всякому...»

Глаза слезились, Омар то и дело отирал их платком. Что за черт? Кто увидит, подумает – плачу. Э, кто увидит?

«При эмире Насре ибн Ахмеде Бухара процветала, как никогда. Государство обширно, казна полна. Войско боеспособно. Народ послушен. Зимой князь проводил в Бухаре, а на лето переезжал в Самарканд или на юг, в Хорасан.

Однажды он отдыхал в Герате.

Ему здесь очень понравилось. Все лето дул прохладный ветер, было много фруктов и хлеба. А когда наступил михраган – праздник осеннего равноденствия, и подоспело молодое вино, и расцвели базилик, ромашка и мята, а затем распустились нарциссы, то область эта показалась эмиру и воинам по справедливости райской обителью.

Зима все медлила, холода долго не вступали в силу. Виноград достиг поразительной сладости. В тех местах, как пишут, его сто двадцать сортов. Самый лучший – калинджари, тонкокожий, с мелкой косточкой, черный, как смола, и сладкий, как сахар.

Весной лошадей погнали в Бадхыз, на его сочные пастбища. Чтобы вволю отъелись, вошли в тело и вновь стали пригодными для битвы и ристалища.

Вновь настало лето, воины запросились домой.

«Куда нам ехать летом? – сказал эмир. – Лучше этого места нет нигде! Поедем осенью». Осенью он заявил: «Побудем здесь еще немного – и поедем».

И так – сезон за сезоном, прошло ни много, ни мало четыре года. Веселая жизнь! Какой она была для тех, кто кормил всю эту ораву, для местных крестьян, можно представить...

Да и войску она надоела. Люди истомились, затосковали по женам и детям. Эмир же и не думал трогаться с места. Тогда начальники войска пришли к Рудаки: «Мы дадим тебе пять тысяч динаров, если ты придумаешь средство сдвинуть падишаха с этой постылой земли. Ибо души наши готовы покинуть тело от страстного желания увидеть Бухару».

Рудаки согласился. Он сочинил стихи и утром, когда эмир, в самом простецком виде, похмелялся в шатре, вошел к нему, взял чанг и запел:

Духом влажным тянет с Мулиана,
В памяти встает та, что желанна.

Он вкрадчиво снижает голос:

И неровный путь в песках Аму
Лег парчой под ноги скакуну.

Затем – во всю мощь:

Мир ликует, предвкушая встречу, —
Лишь по грудь коням вся глубь речная...
Процветай же, Бухара, ты вечно,
Радуйся, правителя встречая!
Бухара – небесный свод,
князь – месяц ясный,
В небе надлежит блистать ему.
Сад – Бухара,
князь – кипарис прекрасный,
Он стремится к саду своему...

Влажный запах большого ручья Мулиан под Бухарой, казалось, долетел и до эмира. Он зарыдал, вскочил, в чем был, на коня, и помчался к реке. Сапоги и шаровары везли за ним два фарсанга, почти до Буруна. Он оделся и обулся на берегу – и до самой Бухары ни разу не натянул поводьев...»

Очень трогательная история.

Омар усмехнулся, вновь вытер глаза. В искренность Рудаки, столь высоко превозносившего эмира, можно поверить: Наср ибн Ахмед был ему другом и благодетелем. Но чтобы стихи так сильно подействовали на эмира, – несколько сомнительно.

Скорей всего, он уже сам тяготился затянувшимся беспечным времяпрепровождением, – тем более, что в Бухаре как ему доносили, не все обстояло так радужно, как это выглядело со стороны.

И лишь из царственного упрямства Наср ибн Ахмед не внимал слезным просьбам приближенных ехать домой. А тут выпал удобный случай, – он и разыграл «душевное потрясение». Все мы лицедеи в этом мире, и правители – больше всех.

Или просто спяна нахлынула на него этакая утонченная чувствительность? Может быть. Омар вспомнил свои вчерашние терзания. Стыдно! Ученый. Взрослый человек... Резь в воспаленных глазах сделалась невыносимой. Он бросил перо, промыл их холодной водой. Вроде полегчало. Дальше.

«Рудаки получил от войска не пять, а десять тысяч динаров. Когда он возвращался в Бухару, четыреста верблюдов шли под его выюками.

Да, повезло Рудаки. Он сумел угодить эмиру. В отличие от Шахида Балхи, его талантливого ученика, умершего в бедности раньше учителя. Шахид не смог закрепить своего положения при дворе, так как был по характеру горд, непокорен. Это он произнес слова горькой обиды:

Чтобы с нарциссом роза расцвела?

Подобного на свете не бывало.
Ученость и богатство несовместимы:
Учен – так нищ, богат – так знаний мало...

И Абу Тахир Хатуни, состоящий при одной из султанш в качестве мустауфи – чиновника, ведающего учетом поступлений в казну, говорит:

«Поистине, сан собаки в наш век нечто почтенное по сравнению с нашим положением. Не становится ныне обладатель изящного слога счастливым, ибо успех достается только трубе да барабану».

...Нет, с глазами что-то неладно. Только этого ему не хватало! И без того трудно писать: плечо, которое он сильно ушиб, упав на строительстве Звездного храма, – ибо всюду лез и многое делал сам, – как сядешь за стол и склонишься над ним, тупо ноет, рука от этого млеет, немеет и будто совсем отпадает. Похоже, будет паралич. Ну, рука отсохнет, – бог с ней, можно научиться левой писать, но если ослепнешь, то уже ничего не напишешь.

Да-а, недешево обошлась ему Эль-Мирра...

И Омар продолжал, холодный и мрачный:

«И Рудаки не минуло несчастье. Однажды ночью его схватили, скрутили руки за спиной, и палач раскаленным добела толстым железным прутком выжег ему глаза. Больной, потерявший все, он вернулся в родное селение и умер год спустя в нищете».

На страницу перед Омаром, исписанную почти до конца, на плотный текст легла легкая белая прогалина. Омар помотал головой. Прогалина не исчезала, она становилась все шире, и вскоре весь лист сделался белым. Омар не видел! Вот оно – несчастье! Все, что было с ним до сих пор, чепуха, досадная мелочь...

«Я устал, – сказал он себе, вставая. – Глаза утомились. Похожу, посмотрю на зелень деревьев, на воду ручья».

Он вышел на узкую террасу дома и разглядел на коре чинара все извилистые морщины, на ветвях – каждый лист с каждой жилкой в нем. Подобрал под опорным столбом сухой опавший, свернувшийся лист, – буроватое пятно без линий, складок и прочих подробностей.

Дальнозоркость! Плохо дело...

Всю жизнь он ею страдал – в переносном смысле: отчетливо видел высокое, крупное со всеми сучками, узорами – и не замечал мелочей прямо перед собой. Теперь она одолела его в смысле прямом. Но если для зрения внутреннего, философского, дальнозоркость, может быть, благо, – то с пером и чистой страницей в руках она бедствие.

Лучше всего – ясно видеть все: и то, что там, вдалеке, и то, что рядом. Что толку, скажем, озирая светлую даль, расшибать лоб о первый попавшийся столб? И дальнозоркость, и близорукость, как в смысле прямом, так и переносном, болезнь...

«Пойду поброжу». И, расстроенный, даже не заперев калитку, он взял толстую палку и потащился куда-то, угнетенный своим новым горем.

Какое длинное лето. Сколько событий. А ему все не видно конца. Проклятое лето! Скорей бы осень, что ли, наступила, с ее прохладой и влажной свежестью...

В голове продолжали звучать фразы, которые он не смог нанести на бумагу.

«Что же случилось в Бухаре в тот страшный год? Почему Рудаки, вознесенный к лазурным вершинам богатства и славы, вдруг, казалось бы, без всякой причины, рухнул в черную пропасть?»

Была причина. Его погубила приверженность к карматству. Распространилось тогда в Бухаре такое учение. Карматы боролись против духовенства и богатых дехкан – феодалов за свободу сельской общины, которую те хотели закрепить.

Но учение их было половинчатым. Рабство, к примеру они считали законным.

Немало людей в Бухаре увлекалось карматством. Даже визири. Даже эмир Наср ибн

Ахмед горячо поддерживал его. Ибо это было выгодно эмиру. Свободная сельская община служила ему опорой против строптивых вассалов, правителей отдельных областей, то и дело норовивших отделиться...

Рудаки, конечно, не мог стоять в стороне от этого движения. Во-первых, потому, что он сам происходил из бедных крестьян и хорошо знал их нужду. Во-вторых, как близкий друг и подопечный эмира, он должен был разделять его убеждения.

Но, скорее всего, поэт и склонил эмира к карматству. Да, случалось в истории и такое: когда правитель более вольнодумен, чем иные из его подданных. Вообще, по всему видать, эмир Наср ибн Ахмед был личностью незаурядной. Вот о ком бы надо написать отдельную книгу. О нем и его дружбе с великим поэтом.

Но дружба эта обернулась для них бедой. Ничто в этом мире, как говорится, не остается безвозмездным – ни злое дело, ни доброе. Зашушукалось по углам духовенство, в руках начальников тюркских наемных войск зазвенели на точилах злобы кривые ножи мятежа. Но сын эмира Нух раскрыл заговор и подавил его.

Затем, не теряя времени, он круто взялся за самих карматов. Забречал цепями его отец, эмир Наср, препровождаемый стражей в темницу. Дергаясь, повис под перекладиной на Регистане Нахшаби, проповедник карматского учения. В стране началось избиение его последователей и разграбление их имущества. Эмиру пришлось отречься от власти в пользу сына. Тогда-то и пострадал Рудаки...

Какой-то незнакомый переулок. Омар здесь не бывал. Занесло. Этак, не глядя, можно зайти бог весть куда. Э, ладно! Дальше Нишапура не уйдешь.

«Библейского Адама изгнали из рая небесного за то, что он «вкусил от древа знания». Не за то ли же самое изгнали «Адама поэтов» из рая земной прекрасной жизни с ее яркими красками?»

Омар, оглядевшись, свернул на другую улицу. Хорошо, что его никто здесь не знает. Никто не мешает думать.

А то бы сто раз остановили. «Ну, как?» – «Ничего». – «Пишешь?» – «Не без того». – «Написал бы книгу обо мне». – «О тебе? Ты даже сатиры не заслуживаешь. Ведь чтобы попасть в сатиру, надо что-то сделать, не так ли? Эпитафию – куда ни шло, могу написать». – «Но я еще живой!» – «Это тебе кажется».

Эх, как хочется всякому, чтобы имя его прогремело... «Понимал ли Нух, сын эмира Насра, какое святотатство он совершает, поднимая руку на Рудаки? Видимо, нет, – по недостатку ума.

А может быть, и понимал! Ведь сжег Герострат храм Артемиды в Эфесе, чтобы войти в историю. И вошел. Нух тоже. Тот тем, что сжег великий храм, этот тем, что выжег глаза великому поэту.

Да еще тем, что, будучи правителем бездарным и жестоким, дотла разорил и развалил свое государство...

– Эй! – окликнул его кто-то сзади.

Обернулся Омар, видит: стоит у резных богатых ворот в убогой каменной ограде некий человек средних лет, круглый, румяный, с бородкой, окрашенной хною. Шелковая белая рубаха распахнута на смуглом объемистом брюхе, из-под широких штанин зеленого шелка торчат облезлые кривые носы старых, стоптанных туфель.

Должно быть, мясник. Перекупщик базарный. Или торговый посредник. Словом, проныра, начинающий в силу входить. Замечено: чем мельче деляга, тем больше в нем самомнения. Дома ходит в шелках. Старую ограду, готовую рухнуть, перестроить не хватило терпения, а резные новые ворота уже поставил: смотрите, вот я какой. Таким со временем станет муж Эль-Мирры...

– Иди сюда, мир его праху, – приказал человек.

Ладно, подойдем. Нас не убудет. Узнаем, что ему нужно. Человек окинул его небрежно-оценивающим взглядом.

– Хочешь, мир его праху, заработать дирхем? – спросил он снисходительно.

– Каким образом? – вскинул брови Омар.
 Человек махнул рукой через плечо:
 – Вычистишь мне выгребную яму.
 Вот оно, решение всех мировых задач! Вот ответ на все вопросы нравственности.
 Вот он, стяжатель, во всей своей вздорной красе. Копайся за дирхем в его дерьме...

А как же! У него есть дирхем. Или сто тысяч дирхемов, – ему лучше знать, сколько их у него. И он считает, что вправе унижить случайного прохожего с благородным, умным, хоть и несколько измятым лицом. Более того он рад унижить незнакомого человека, ибо это возвышает его в собственных глазах.

– Нет. – Омар повернулся и пошел своей дорогой. «Так-то, любезный, – сказал он себе. – Вот до чего мы с тобой докатились...»

Нахал не отставал:
 – Ну, чего тебе стоит? Мир его праху. Провозишься день, получишь дирхем. Целый дирхем!

– Отстань, добрый человек! – отмахнулся от него Омар с досадой. – Я тебе дам три дирхема, лишь бы ты отвязался.

Человек на миг остолбенел от неожиданности. Он судорожно глотнул воздух круглым рыбьим ртом и брякнул:
 – Дай. – И, подумав, добавил: – Мир его праху.

Омар потянулся к поясу и только тут увидел, что вышел на улицу в простой, без карманов, рубахе, в которой ходил дома. Видно, из-за нее, из-за этой старой рубахи, и решил наглец, что имеет дело с бедным поденщиком.

– Забыл кошелек, мир его праху. В другой раз занесу.

– Нет уж, давай! – вскричал человек в блестящих шелках и драных туфлях. – Найди сейчас же, где хочешь.

Он неотступно следовал за поэтом по улице:
 – Гони три дирхема.
 – Я...
 – Ведь ты обещал три дирхема, а? Скажи сам, обещал или нет? Бог свидетель!
 – Но...
 – Ты должен мне три дирхема.
 – О господи! – взмолился Омар. – В другой раз занесу.

– У тебя никогда не бывало три дирхема сразу, – сказал презрительно обыватель. И схватил Омара за ворот. – Нет уж, хочешь не хочешь, ты очистишь мне выгребную яму.

Омар – чуть не плача:
 – Друг! Говорю тебе: я этим не занимаюсь!
 – А чем ты занимаешься? – спросил тот угрожающе.
 – Убиваю дураков! – прошипел Омар, зверея. – Вот этой самой палкой.
 Жуткие зеленые глаза...

Обыватель понял: сейчас, сей же миг, он будет искалечен. Он тихо, с ужасом, ойкнул, попятился и пустился, мир его праху, бежать по улице с истошным криком:
 – Спасите! Помогите...
 Смешно? Нет, страшно...

«Так, видно, и делается история, – мысленно завершил Омар свой рассказ о Рудаки. – Есть некое целое, действующее бессознательно. Это жизнь. Великое множество особых жизненных обстоятельств рождает не меньше разных несходных желаний. В итоге жестоких столкновений великого множества этих желаний, по причине их глубокой несовместимости, возникает событие. И раз уж один не хочет того, чего хочет другой, то в конце концов получается то, чего никто не хотел.

Все как в природе. Муравейник – иначе не назовешь. А человек – это дух. Дух и разум».

Да, страшно. Читая в книгах о тяжелой судьбе необыкновенных людей, живших в прошлом, мы возмущаемся теми, кто не понимал и преследовал их за то, что они были непохожими на всех. И не замечаем необыкновенных людей, живущих сейчас, рядом с нами, – а если заметим, тоже поносим. За то, что они не такие, как мы.

Жена пророка, например, вовсе не видела в нем пророка. И изводила жена близкого к богу, не меньше всякой другой вздорной бабы...

У Омара тут же наметился новый рассказ для его «Книги печали».

Рассказ о глазах.

Арабский поэт Абу-Шис ослеп в конце жизни, успев сполна налюбоваться всеми красками земли и ее плодов, рубиновым вином и алой розой и мускусно-черным отливом кожи африканской невольницы Тибы. И то он горевал в своих стихах:

Плачь, душа, обильными слезами –
Жемчугом, стекающим
с суровой нити,
Расставаясь с ясными глазами,
Теми, что фонарь, и посох, и водитель...

Он был скор на мысли и слова. Говорили, что Абу-Шису легче сложить стихи, чем тому, кто жаждет, выпить в жаркий день глоток воды. Его зарезал пьяный слуга эмира Укбы ибн Джафара.

Другой арабский поэт, Абуль-Аль Маарри, ослеп в раннем детстве от оспы. Зато на всю жизнь прозрел духовно. Если в первых стихах – «Искры огнива» – он еще набожен, чтит коран и верит в правоту ислама, то затем, окунувшись в кипучую жизнь больших городов – Антиохии, Латакии, Халеба, послушав унылые проповеди иудейских, христианских и буддийских священнослужителей, а также пылкие речи вольнодумцев – мутазилитов, прочно усвоив много новых полезных знаний, Абуль-Аль впадает в сомнения. Он приходит к выводу о никчемности большинства обрядов исламской веры. И всякой прочей. И говорит:

Все лгут – поп и мулла, раввин и черный маг.
Мир по-иному разделите сразу:
Есть вера у одних – но ни на грош ума,
Нет веры у других – зато есть разум...

Его восторженно встретили в Багдаде. Слава одаренного поэта уже долетела сюда. Но вскоре он разочаровал поклонников и покровителей. Они ожидали найти в нем собрата по перу, готовому строчить хвалебные оды. Но их надежды не оправдались.

Поэт сказал о Багдаде:

«Я нашел здесь людей в суматохе... Дело государей – пьянство, дело знати – собирание налогов, дело родовых вождей – ограбление чужого богатства и прелюбодеяние».

В своей книге «Разделы и пределы» он вообще говорит странные вещи и приводит метафоры, постигнуть смысл которых могут немногие люди. Его заподозрили в том, что он осуждает коран...

Перед ним закрылись в Багдаде все двери, и поэт вернулся в родную Маарру.

«Как я – в Нишапур», – подумал с горечью Омар.

Жители Маары, доведенные до нищеты чиновниками, то и дело вводившими незаконные налоги, найми в лице Абуль-Аля смелого защитника их прав. Поэт разделил между ними все свое значительное состояние, которое досталось ему от отца. Он презирал скопидомство. И терпеть не мог вороватых сборщиков податей, судей и правителей, притесняющих народ.

«Самый несчастный из всех, – говорил Абуль-Аль, – это тот властелин, которому, дабы удержаться на престоле, приходится пользоваться войсками».

Во главе государства должен стоять правитель, избранный народом.

Поэт не представлял себе жизни без труда. Наступит время, пророчил он, когда человечество превратит глухую пустыню в цветущий сад. Но на пути к свободе много препятствий, из них главное – религия. Ислам, с его раем и адом, противоречит человеческому разуму. Вся жизнь человека, начиная со дня рождения и до самой смерти, есть борьба против невзгод и лишений, и никакое воздаяние не ожидает его на том свете.

Лишь после того, как люди проснутся от религиозного сна и обратятся к разуму, этому единственному мерилу истины и справедливости, наступит день освобождения...

Над поэтом нависла опасность. Но огромная известность и глубокое уважение народа оберегали его от расправы. Когда же власти хватились, бунтаря уже не было в живых. В одной главе не изложить все, что он говорил и писал. О нем бы надо создать большую отдельную книгу.

«Я его прямой последователь, – подумал с гордостью Омар. – Богатство и бедность. Мишура событий и устойчивость добра и человечности. Родина и чужбина. Радость и горе. Правда и ложь. Достоинства ума и одаренности. Образованность и невежество. Любовь и ненависть. Жизнь и смерть. Вот вопросы, на которые мучительно искал ответы Абуль-Аль Маарри. И не всегда находил. А если и находил, то в ущерб своему благополучию. Истина обходится дорого.

Над ними бились Аль-Кинди, Закария Рази, Фараби, Беруни, Абу-Али ибн Сина и ряд других мыслителей, живших до нас.

То есть теми самыми вопросами, острыми, жгучими, трудными, что волновали, волнуют и вечно будут волновать всех на свете людей. Почему же тогда обыватели всех степеней считают нас исчадиями ада, чужими под солнцем? Мы открыто говорим за них то, чего они сами не смеют не то что сказать – даже подумать.

Всяких юродивых чтут: мол, их устами глаголет бог. Кто же глаголет нашими устами, если не сам народ? Ладно, пусть нас не чтут, но и не лишают языка.

Мы – цель и высшая вершина всей Вселенной,
Мы – украшение и сей юдоли бренной;
Коль мирозданья круг есть некое кольцо,
В нем, без сомнения, мы камень драгоценный.

Да, я высоко ценю себя! Без ложной скромности. И горжусь собой. Я знаю, что мало в чем уступаю тем, известным, прославленным. И даже кое в чем превосхожу их.

Что из того, что меня не признают сильные мира сего? Тех тоже не признавали при жизни. Видно, так уж устроен мир, что для того, чтобы люди оценили тебя по достоинству, надо умереть и лет сто или триста тихо пролежать в сырой земле. Пока наверху не улягутся страсти...»

Абу-Бекр Закария Рази из Хорасана не болел в детстве оспой. Глаза у него были зоркими. Зорче, чем у многих. Он принадлежал к школе табиян – натуралистов, объясняющих все явления естественным путем, без вмешательства бога.

«Я тоже к ней отношусь», – подумал довольный Омар.

Закария Рази написал сто восемьдесят пять серьезных работ, среди которых знаменитый медицинский трактат «Книга объемлющая», «Естественные законы в философии», «Рассуждение о материи», «Рассуждение о времени и пространстве», «О душе и мире».

Из его трудов встает исполин научной мысли, незаслуженно забытый.

Как великий мыслитель и естествоиспытатель, он, конечно, выступал против религиозных басен о создании мира. «Поскольку сотворение невозможно, – утверждал

Рази, – постольку необходимо, чтобы материя была изначальной».

Он отрицает коран:

«Религия и религиозные секты, будучи основной причиной войн, выступают против философии и науки. Религиозные книги, называемые священными, лишены содержания и потому не заслуживают никакого внимания. Произведения же древних мыслителей, таких, как Платон, Аристотель, Эвклид и Гиппократ, принесли человечеству гораздо больше пользы, чем все религиозные писания».

Понятно, почему богословы прониклись к нему дикой враждой. Однажды они напали на Рази и зверски избили его. После чего, в расцвете творческих сил, он навсегда утратил зрение. Знают, сволочи, куда бить. По голове, чтоб не думал, и по глазам, чтоб не читал и не писал...

Он очнулся от раздумий у своей калитки. Омару нужен стеклянный шар. Астроном и математик Абу-Джафар аль-Хазен, тоже хорасанец, земляк Омара Хайяма, живший несколько позже Рази, установил, что сегмент стеклянного шара способен увеличивать предметы и приближать их к глазам.

Но где его возьмешь, простой стеклянный шар? В Нишапуре чего только нет. Найдешь любой драгоценный камень. Есть ювелиры, гранильщики, шлифовальщики. О стеклоделах что-то не слыхать. Но если спросить на большом базаре, обойти караван-сарай, может, и отыщется мастер-стекловар.

Желательно – чужак, иноземец, которому дела нет до наших треволнений. А то свой, правоверный, начнет донимать: «Зачем тебе стеклянный шар? Что ты хочешь с ним делать. Не задумал ли ты чего худого? Нет ли в этом греха?»

Абу-Джафар, наивный человек, обрадованный своим удивительным открытием, побежал похвалиться им к кому-то кажется, к соседу. Сосед, взглянув сквозь выпуклое стекло на крошку-букашку, увидел рогатое глазастое чудовище с мохнатой пастью – и завопил от страха. И, конечно же, тут же, обливаясь потом и слезами, кинулся доносить на «колдуна». Аль-Хазена схватили. Стекло проверили – и тоже испугались. И «за связь с нечистой силой» приговорили ученого к смерти.

Бедняге пришлось прикинуться сумасшедшим, чтобы избежать лютой казни...

В этом мире глупцов, подлецов, торгашей
Уши, мудрый, заткни, рот покрепче зашей,
Веки плотно зажмурь, – хоть немного подумай
О сохранности глаз, языка и ушей.

– Ох! О Яхве. Зачем ты пришел, почтенный? Садись. Почему ты беспокоишь меня в субботу, которую я, как и положено, провожу в смиренных молитвах? Доломит тебе в шихту! И кварцевый песок...

Начало хорошее! Значит, будет дело. Лавка похожа на старый чулан, куда как попало напихали всякий хлам. Тяжелый дух. На шатком столике, в немывом блюде – огрызок соленой рыбы.

Стекловар почесал под скуфьей лохматую голову, плеснул, кряхтя, из стеклянной бутылки в немыслимо грязную чашку ячменной водки, хлебнул, закусил чесноком.

– Этим я отбиваю водочный запах, – мигнул он Омару.

– Лучше б ты отбивал водкой запах чеснока, – поморщился Омар, на сей раз принарядившийся, как знатный горожанин. – Водка все-таки напиток благородный...

– Что я и делаю! – вскричал со смехом нелепый старик. – Остроумно. – Он повалился на жесткое ложе, покрытое вонючей ветошью, и жизнерадостно задрогал тощими ногами. Затем сел на край тахты, запахнул драный халат – и вполне осмысленно взглянул Омару в глаза рыжими, чем-то знакомыми глазами. Когда-то он, видно, был весь рыжеват, но теперь его волосы и борода из медных превратились в грязно-серо-бурые. – Стеклянный шар? Я этим давно не занимаюсь. Господа предпочитают алмазы, топазы и хризопразы. А стекло –

вещь хрупкая.

– Но полезная. Займись.

– Поташ тебе в шихту! И борная кислота. Пятнадцать динаров.

– Делай.

– Простой стеклянный шар? Хочешь, я добавлю железа, он будет синий, меди, – он будет зеленый. Повесишь на шею – все ахнут.

– Нет, нужен бесцветный, спокойный, без пузырьков, как вода в неподвижной посуде. – «Ничего тут не выйдет, – подумал Омар с тоской. – Все утро искал... О боже! Что ты делаешь с нами?» – Дай-ка и мне глотнуть, – мрачно сказал поэт стеклоvarу. – Выпьем за стеклянный шар – и заодно за шар земной.

– Выпьем! Не брезгуешь? Значит, ты свой. Но разве земля – вроде шара? Черт с ней. Омар Хайям! Слышал о таком? – стеклоvar прищурил хитрый глаз. – Он говорит:

Коль ты мне друг, оставь словесную игру
И поскорей вина налей! Когда ж умру –
Из праха моего слепив кирпич, снеси
В кабак и там заткни в стене дыру.

Доломит тебе в шихту! И сода. Где-то редька у меня была...

– Брось! Ладонью занюхаю. – «Хорошо, он не знает меня в лицо».

Хмельной старик, расшвыряв ногой пустые горшки и мешки, со скрипом открыл дверь в мастерскую, со стуком распахнул ставни на узком окне. К удивлению поэта, здесь, по сравнению с лавкой, был полный порядок. Печь и пузатый горшок на ней. На полке, в ряд, сосуды с чем-то. В углу, ладной стопкой, дрова. В другом – объемистый ящик. Лишь лохмотья серой пыльной паутины в верхних углах да сеть из нее в закопченной холодной топке подтверждали, что в мастерской давно никто не работал.

– Чем же ты занимаешься, если не варишь стекло?

– А, чем попало! Растираю осколки стекла в порошок, продаю как средство против мышей. «Как его применять?» – задают мне вопрос покупатели. «Очень просто! Поймайте мышь, насыпьте ей в пасть. Вмиг околеет». Ха-ха! Берут... – Он, кряхтя, снял с ящика крышку. – Ох! О Яхве. Грешен я, грешен. Нельзя мне, еврею, в субботу огонь разжигать. Нельзя ничего варить. Я должен молиться. – И, копаясь в ящике, он загнусавил на заунывный мотив иудейского псалма одно из четверостиший Омара: «Моей руке держа-ать кувшин вина отра-ада; священных свитков ей касаться и не на-адо». – Он вынул из ящика горшок с толченым бесцветным стеклом, похожим на чешуйки слюды в речном песке. – «Я – от вина промо-ок; не мне, ханжа сухо-ой, не мне, а вот тебе опасно пла-амя ада...» Мы ничего не выбрасываем. Пускаем в ход все остатки, осколки, ошметки. Когда в этом есть нужда. Варить стекло из песка – дело другое. А ты, я вижу, спешишь. Какого размера нужен шар?

Омар прикинул в уме, сказал примерно:

– Ну, величиной с мой кулак.

– Этого хватит. Отличный шар тебе отолью. – Мастер высыпал сырье в горшок. – Из шамота, – стукнул костяшкой среднего пальца старик по горшку. – Огнеупорный! Знаешь что, досточтимый, – сказал он скучающе. – Стекло варить – дело нудное. Сперва я должен разжечь огонь. Затем разыскать где-то в ящике подходящую форму. Сначала стекло раскалится, позже оно размягчится, станет вязким, тягучим, и уж после всего – жидким, как топленое масло. Его нужно будет вылить в форму и ждать, когда остынет. Ждать! И ждать. А водка кончилась. Взял бы ты, дорогой, ту бутыль, сходил к хозяину, а? К владельцу караван-сарая. О Яхве! Он ею торгует. Тайком. Шепни ему: мол, для Давида. Сходи! Прошу.

И друг детства Давид, сын Мизрохов, взглянул Омару в глаза чистыми и честными, прежними глазами.

– Давид? – вскричал Омар.

Господи, сколько же лет прошло с тех пор, как они расстались? Тридцать пять, тридцать шесть?..

– Да, если помнишь, любезный друг. Он самый. Я переехал сюда, когда ты был уже в Исфахане. Видишь, что из меня получилось. Что получилось, сам видишь, а почему – не спрашивай.

...К вечеру, взяв свой отменно сделанный шар, Омар вручил Давиду пятнадцать монет. Пятнадцать полновесных золотых динаров. Хоть и знал, что тот их безбожно пропьет. Пусть! Все равно теперь его не исправишь. Да и нужно ли исправлять? Пусть будет ему хорошо, на какое-то время, в своем особом, придуманном мире.

Он – великолепный мастер, и этого с него вполне достаточно! Мало ли опустившихся людей, которые вообще ничего не умеют делать. Кроме как пить или опий курить. И вполне трезвых, непьющих и некурящих, которые тоже ничего не умеют. Кроме как бесполезно обременять несчастную землю.

И разве те, что, едва появившись на свет, поверили в блажь богословия и носились с ней до конца, не прошлепали всю жизнь губами в наркотическом полусне?..

Когда, узколицый и крючконосый, веселый, растрепанный, склонившись над печью и распевая псалмы, которых нет ни в каких священных писаниях, стекловар черпаком помешивал шихту и снимал с нее пену, он, озаренный пламенем, походил на древнего мага в храме огня.

Если не на самого господа бога.

Мы тут, на Востоке, странно устроены. Ничего, что придумал другой народ, для нас не годится. Потому, что они «неверные». Вши заедают, – все равно мы лучше всех.

Стекло варили еще в древнем Египте...

– Нет, – отодвинул монеты Давид, сын Мизрохов. – Я у тебя в долгу. Я ничего не забыл. И фельса с тебя не возьму! Хвала создателю, выпал все-таки случай отблагодарить. О юный мой друг! – Он в отчаянии вскинул тощие руки к черному глухому потолку, уронил и заплакал. – Поташ твою соду... И кварцевый... песок...

Так, стеклянный шар у нас есть. Теперь самое сложное, трудное – его распилить.

Может, было бы лучше, если б Давид разрезал ножом шар на части, пока он еще не затвердел? Нет, шар утратил бы точную форму – и сегменты, пожалуй, стали бы все искажать.

Просто линзу отлить – дело тоже сомнительное. Ведь никто не знает законов преломления света! Не знал и Аль-Хазен. Узнал бы, конечно, со временем, – если б дали спокойно работать.

Но разве они дадут?..

Вообще, что нам известно о сущности света?

Пифагор: тела становятся видимыми благодаря испускаемым ими частицам;

Аристотель: свет есть возбуждение среды, находящейся между объектом и глазом;

Плиний Старший: стеклянный шар, вобрав лучи солнца, зажигает предметы.

Небогато! Ясно одно: с шара и надо начинать. С твердого шара, а не сразу с его частей. Да и не смог бы Давид проделать такую тонкую работу. Здесь нужны точный глаз и твердая рука. Спасибо, хоть шар сумел отлить. И это было последней вспышкой его угасания...

Э, придумаем что-нибудь! Кого-кого, а ювелиров у нас – едва ли не больше, чем людей, способных купить их изделия. «Чего ты боишься?» – упрекнул себя Омар. – Пуглив стал под старость. Времена Аль-Хазена прошли...»

Да, охладил он тут же свой пыл. Те времена прошли, настали другие, но чем они лучше? Так что не следует пренебрегать осторожностью.

Приказ свыше: бойся! Мы и боимся. Всех и всего.

Откроешь рот, навстречу – озлобление,
Закроешь – навлечешь как тихий, подозрение...

Не лучше ли тебе, будь хоть святым,
Ни с кем не знаться, жить в уединеньи?

Рад бы! Но – не дадут. И здесь найдут, не оставят в покое. Это мы знаем.
Да и в какой тихой келье избавишься от страстей своих человеческих? От сомнений?
Желаний? Мечтаний? От разума, черт бы его побрал!

«Ад и рай – в небесах», —
Нам толкуют ханжи.
Я, в себя заглянув,
Убедился во лжи!
Ад и рай – не круги во дворце мироздания.
Ад и рай – это две половины души.

Что ж, в самом деле: оскопить себя, – как некий христианский изувер, и забиться,
хныча, в пещеру?

Тьфу!

Ну, скажем, грех пить вино. С натяжкой, но скажем. Грех женщин любить молодых.
Хотя... дело-то обоюдное. Мы это тоже знаем! Но – допустим. Грех красть, убивать,
обманывать. Но мы этим и не занимаемся.

Но какой же, подумайте, грех – сделать хоть что-то человеку на пользу? Какой вред
может принести правой вере увеличительное стекло?..

На базаре – новость:

– Слыхали? Убит Куджамыш – тюрокский начальник, зять эмира Аргуша.

Пораженные:

– Кем?

С оглядкой:

– Теми... из Аламута.

Со вздохом:

– Ну, времена!

С опаской:

– То ли еще будет.

Злорадно:

– Так ему и надо...

Это случилось у входа в соборную мечеть, на глазах у многих правоверных. Убийцу
тут же схватили. Его хотели казнить на месте, но окружной правитель Аргуш воспротивился:

– Нет уж! Прежде, чем он попадет в исмаилитский свой рай, я ему здесь, на земле,
устрою ад...

Хашишина, после долгих истязаний, привязали к столбу на площади перед соборной
мечетью, обложили хворостом и сожгли на медленном огне. Он умирал мучительной
смертью, но с достоинством: не унижался, не каялся, не умолял его пощадить.

Аргуш не успокоился на этом. Он решил выместить злобу на жителях Нишапура. Зять
был его любимцем, эмир не находил себе места.

Город кишел соглядатаями и доносчиками. Толпы конных воинов-туркмен с визгом
носились по улицам. Хватали кого попало. Наверняка среди прохожих есть сторонники
«шейха горы». Так называли в народе главу секты Хасана Сабаха.

Вломились к Хайяму. Их привел имам квартальной мечети.

– Это он?

– Он самый.

– Взять его!

Медлить нельзя. Ни секунды.

– Стойте! – Омар вскинул над головой толстую книгу в черной обложке. Он всегда держал ее на виду, чтобы, если кто забредет, была под рукой. Предосторожность. – Не прикасайтесь ко мне! Я под защитой корана...

Старший воин, с огромными, до ушей, красными от хны усами, на миг замялся. Увидев смущение начальника, выжидательно остановились другие.

Омар, не теряя времени, сунул им священную книгу:

– Передайте ее почтенному домулле. Пусть он наугад раскроет любую страницу и назовет любую главу и стих.

«Поташ твою соду! Я тебе покажу...»

– Давайте, – кивнул растерянный начальник скисшему имаму.

Коран – вещь серьезная. Его надлежит уважать, это он знает. Коран не сотворен людьми, он существовал предвечно. Книга хранилась под престолом аллаха и была передана богом пророку Мухамеду.

Священник вымыл руки в ручье, отер их, сунув накрест под мышки, бережно взял и раскрыл коран. И, надеясь подловить Омара, назвал злорадно главу и стих:

– Сура девятая, аят пятьдесят первый.

Грозный взгляд начальника.

Омар с его изумительной памятью легко произнес наизусть:

– «Скажи: не постигнет нас никогда и ничто, кроме того, что начертал нам аллах».

Удачный попался стих. Весьма к месту.

– Верно? – строго спросил туркмен.

Имам, шевеля губами, как школьник, едва научившийся читать, медленно одолел данный стих – и подтвердил с огорчением:

– Верно.

Начальник молитвенно провел по темному лицу широкими ладонями, у него отвис левый ус. Он не стал подкручивать ус, справедливо сочтя это действие здесь и сейчас неуместным.

– Еще! – приказал старший воин, довольно смешной, с перекошенными усами. Но Омару – не до смеха. Смех может смениться тотчас криком боли...

Имам с досадой перевернул страницы:

– Сура шестнадцатая, аяты сто двадцать шестой – сто двадцать седьмой.

Эх, как не терпится этой сопле уничтожить Омара Хайяма!

Поэт – сурово:

– «Если наказываете, то наказывайте соразмерно тому, что считается у вас заслуживающим наказания; но если будете снисходительны, то это будет лучше для снисходительных».

Везет!

– Безгранична мудрость аллаха! – вздохнул начальник, потрясенный этой мудростью, и почтительно склонил перед Омаром голову. У него отвис правый ус.

Имам поскучнел:

– Сура восемьдесят пятая, аяты первый-третий...

У Омара голос зазвенел:

– «Клянусь небом, украшенным созвездиями зодиака, и днем предвозвещенным, клянусь свидетельствующим и тем, о чем он свидетельствует...»

Начальник попятился:

– Хватит! Мы не туда попали.

Концы его пышных усов сползли под увесистый подбородок.

Эх вы, неучи. В них, пожалуй, и состоит главная сила воздействия «священной книги», – в леденящей ритмике звучности и пугающей образности ее стихов. А не в смысле, очень часто противоречивом...

– Нет, почему же? Вы попали туда, куда надо. – Омар вырвал книгу из хилых рук имама. – Теперь давайте испытаем самого почтенного домуллу. А ну-ка вспомните,

уважаемый, суру восемьдесят первую, аяты первый-третий, пятый-шестой, одиннадцатый-тринадцатый, – подступил Омар к перепуганному старичку.

Глаза его горели, как стекла с примесью меди, зеленые.

«Он сам – пророк», – похолодел имам. И живо укрылся за спиной туркмена.

– Не можешь? – загремел Омар. – Чего же тогда ты берешься кого-то в чем-то уличать, жалкий ты человечек? Я тебе напому эту главу! – «Когда солнце обовьется мраком, когда звезды померкнут, когда горы с мест своих сдвинутся, звери столпятся, моря закипят... когда небо снимется, точно покров, ад разгорится и опустится рай...»

У туркмен от ужаса развернулись и встали торчком кольца меха на их барашковых шапках. И горячий пот под ними оледенел. Будто громилы и вправду узрели наступление «последнего часа».

Старший воин низко, чуть на колени не пав, поклонился поэту:

– Ваша милость! Простите. За нелепое вторжение...

Ушли, чуть живые со страху. За оградой было слышно, как разъяренный начальник ватаги отчитывает злосчастного шейха за глупость:

– Без указания свыше мы здесь ничего не можем!

Да, повезло. А то б затаскали. Насидишься, с больной рукой, в каменном сыром колодце, пока докажешь, что ты – не верблюд.

Верблюды-то ты верблюды, но не из того каравана.

С шаром стеклянным теперь никуда не суйся. Что же делать? Он не может ждать, когда улягутся страсти. Не скоро они улягутся в этой стране...

Хорошо бы выбраться куда-нибудь, где Омара никто не знает. В другой город. И даже – в другую страну. Скажем, в Армению или Византию, где нет ярых ревнителей «правой веры». Э! Мракобесы везде одинаковы. Христиане могут вообразить, что сарацин своим стеклянным шаром хочет поджечь гроб господень. И непременно какой-нибудь заезжий торговец из Нишапура увидит его среди гебров – неверных. Сколько людей на земле! Человеку на ней негде укрыться: в самой глухой дыре – или в самой густой толпе тебя обязательно заметит чей-то знакомый недобрый глаз. А захочешь пойти к кому со своим наболевшим – с грустью увидишь, что идти-то некуда. Кому ты нужен? Никому ни до кого нет дела...

Слово «гебры» (гяуры, кафиры), случайно мелькнув в голове, застряло в ней – и притянуло к себе весь круговорот его невеселых мыслей. В памяти далекой манящей звездой загорелось название – Йезд...

Омар собрался в дорогу.

Занге-Сахро! Наконец-то ему довелось вновь увидеть ее. Ту странную дикую женщину, которую он встретил когда-то в песках между Мервом и рекой Аму. Увидеть в новой, другой, очередной в его жизни пустыне, – каких будет еще немало на долгом и трудном пути...

Здесь те же крутые барханы. Может быть, даже круче. Ибо здесь их вздымает и гонит вечный ветер. Вечный, не переставший гудеть ни зимой, ни летом, ни ночью, ни днем. Округлые дюны, теснясь друг к другу, большими стадами слонов, изнывающих от жажды, ползут издалека, из глубин Деште-Лута, и с немой яростью осаждают стены древнего города, местами уже доставая зубцы и бойницы хоботами сыпучих горячих струй.

Нет, конечно, не она. Дикой женщине в этих местах нечего делать. Город. Оазис. Прибежище гебров – зороастрийцев, не пожелавших принять новую веру – ислам. О чем свидетельствует скорбная «башня молчания» на холме у въезда в знойный Йезд.

И та была нагой, эта – одета.

Та была как бы войлочной, покрытой шерстью, у этой кожа на голых руках и плечах – золотисто-коричневый шелк. Хотя в остальном – будто она: и ростом так же мала, и охалка огненно-рыжих, солнечных, золотых волос так же спадает на брови и плечи. Кончик узкого носа чуть приподнят. И верхняя губа чуть выступает над полувтянутой нижней, как-то

улыбчиво, мило – и беззащитно накрывая ее. Та же яркость в длинных огромных глазах. Как в двух дождевых крупных каплях, что сорвались где-то с нездешних туч, и, вобрав в звенящем полете всю небесную синеву, упали, брызнув ресницами, на золотистый лик языческой богини. Но у той торчали клыки, – у этой зубы оказались вполне человеческими, когда она улыбнулась в ответ на его вопрос, не здесь ли живет Кавад-заргар – ювелир, о котором ему сказали в караван-сараяе.

– Здесь, добрый человек! Это мой брат. Окажите милость, проходите...

И девушка с открытым лицом, на улице, залитой солнцем, приветливо отступила, пропуская его в калитку в глухой высокой ограде.

С открытым лицом. На улице. Девушка. Свободно разговаривает с незнакомым мужчиной...

В городах мусульманских такое немыслимо. Там бы она шарахнулась от него, как от прокаженного, и пустилась бежать, закутавшись поплотнее в чадру. Не дай бог кто увидит и донесет мужу, брату, отцу.

Омар будто попал, как Синдбад-мореход, на волшебный остров, где все не так, как везде...

Сразу влево от входа – низкое, но просторное, во всю ширь стены, раскрытое окно мастерской.

Гость осторожно признался:

– Я человек, гонимый суровой жизнью. По роду своих занятий неразлучен с пером и бумагой. Но в сорок шесть бог наказал меня за грехи слепотой. Где-то я прочитал, что сегмент стеклянного шара улучшает зрение. Стеклянный шар имею. – Он протянул шар ювелиру. – Однако в наших краях не нашлось людей, способных распилить его на части.

– Нашлись бы, – усмехнулся ювелир, человек еще не старый, лет сорока – сорока двух, невысокий и худощавый, с бородкой, окрашенной, по обычаю, хною. Глаза у него были синими, как у сестры. Он хитро сощурил их. – Но ты боишься разделить судьбу Аль-Хазена. Я так полагаю. Или я ошибаюсь?

«Ого!» – вздрогнул поэт. Ювелир сказал с печалью:

– Да-а, уж так устроена жизнь. Мало придумать что-либо человеку на пользу. Надо еще доказать, что оно ему отнюдь не во вред. И, доказав, уцелеть от ярости завистливых невежд. Но ты здесь в безопасности, Омар Хайям.

– Откуда ты знаешь меня? – удивился Омар.

– Кто не знает Омара Хайяма? – удивился заргар в свою очередь. – Караван, в котором ты ехал, был еще далеко в пути, а нам тут же стало известно, кто жалуется в наш богом забытый город...

Какое счастье. Наконец-то Омар оказался в местах, где никому дела нет, язычник ты или правоверный, ходишь в мечеть или не ходишь, молишься или не молишься, постишься или не постишься, пьешь вино или не пьешь.

Тебя приветливо встретит у входа милая девушка. И радушный брат ее, отменный мастер, оставив удобный верстак с игрушечной наковальней, поведет тебя к большому хуму с водой, даст умыться с дороги. И сестренка его с открытым юным лицом расстелет скатерть и выложит на нее лучшее, что имеется в доме: ячменный хлеб и колотый миндаль (здесь питаются скудно) и кувшинчик с кислым молоком.

Лишь бы ты был Омаром Хайямом. Этого вполне достаточно...

– Пусть уважаемый гость простит за скудное угощение, – извинился Кавад-заргар и нетерпеливо взвесил в руке его ладный прозрачный шар. – К вечеру придумаем что-нибудь посытнее. Если гость желает, он может отдохнуть с дороги в летних помещениях. Там у нас прохладно.

– Нет, я хотел бы сперва осмотреть ваш славный город.

– Как будет угодно приезжему. Зара проводит тебя, – кивнул он на сестру.

«Зара? – подумал Омар. – Хм. «Золотая»...»

– Гость – явный мусульманин. Накинь на голову черную абу, прикинься его

единоверкой, – сказал Кавад сестре доброжелательно. – Чтобы не было после нареканий. Здесь у нас свои строгости, – улыбнулся заргар Омару.

«Да, конечно! – озарило поэта. – Иначе и быть не может. И здесь не рай. Пусть женщины не прячут под чадрой, – зато ее держат в незримых оковах. И не только женщину. Религия – везде религия».

– А я, – продолжал ювелир, – пока пригляжусь к этому шару. Стекло – вещь хрупкая, пилить его надо с большой осторожностью, не торопясь. Главное – не торопясь. Я так полагаю. Или я ошибаюсь? Есть у меня подходящая пилка. Тонкая, из самой лучшей стали. Тут выйдет несколько линз. Я их отшлифую, вделаю в оправы с ручками, чтобы удобнее было держать. Разобьется одна – будет в запасе вторая и третья. Тебе надолго хватит.

Омар вздохнул полной грудью. Мастер – он мастер и есть. Ему не нужно втолковывать битый час, чего хотят от него. Сам соображает.

– Я сперва покажу ему дом и сад, – сказала Зара. – Платок накину, когда выйдем на улицу.

– Хорошо. Ступайте, не мешайте.

Она повела его по каменной лестнице в глубокий подвал.

– Летом мы спим внизу, глубоко под землей. И тем спасаемся от жары. Здесь и кухня с кладовой. Отсюда же ведет подземный ход в соседний дом. На случай беды. Иногда мусульмане на нас нападают, – вздохнула Зара.

В полутьме подвала, куда из проема на стыке стены и потолка поступал скудный наружный свет, глаза ее сделались черными. В них – вопрос. Она оробела. Оба смутились.

– Прохладно, – охрип Омар. – Воздух свежий, чистый. Совсем не затхлый, как в иных подвалах.

– Разве ты не заметил на округлой крыше особую полую башню? – Она невольно придвинулась к нему. – Это бадгир – ветроулавливатель. Он соединен с подвалом широкой трубой, и потому здесь всегда сквозняк...

Зара умолкла. Опасный миг. Обстановка становилась невыносимой. Девушка медленно, сама не зная, что делает, подняла ладони, чтобы положить ему на плечи, – и с легким стоном рванулась к лестнице.

– Вот он, бадгир. – На свету, на виду у брата, она успокоилась. И показала на ажурную башенку на полусферической крыше над верхним, «зимним», этажом. – Пойдем дальше.

Да, все необыкновенно в этом городе. Прежде всего – сама Зара. Идет чуть ли не вприпрыжку, мурлычет, вновь осмелев, какую-то незнакомую, но очень красивую мелодию. Поет шаловливо, с усмешкой, и язык этой песни он слышит первый раз.

Вообще язык жителей Йезда, как заметил Омар, приехав сюда, отличается от языка других областей Ирана. Вначале он показался на слух ему странным. Омар сразу не мог понять, почему.

Затем уловил: в их языке нет арабских слов. Это старый книжный язык сасанидских времен. То есть чистый персидский.

Но тот, на котором пела Зара, другой. Совсем чужой.

– Что за песня, на каком языке ты ее поешь?

– На гуджаратском.

– Где на нем говорят?

– Мы с братом ездили в Индию. Там в Гуджарате, у моря, живут наши единоверцы. Строго блюдут заветы Заратуштры, носят особый пояс – зуннар, но перешли уже на местную речь. Я и научилась от новых подружек.

Голос у нее – лениво-тягучий, насмешливо-ласковый, мягкий, спокойный. Как не похоже это на злость и резкость несчастной Эль-Мирры...

Через калитку в низкой ограде они вышли в маленький сад.

– Миндаль и гранаты, – обвела она рукой несколько хилых деревьев. – Это наше главное богатство. Скоро будем снимать урожай. Яблок, груш, абрикосов нет. Не хватает воды.

– Где ее берете?

– Из горных ручьев. Они почти весь год сухие, но глубоко под галькой, под песком сочится вода. К городу от этих лощин идут колодцы, соединенные под землей между собой. Набирается малость. Случается, ветер под утро стихает, тогда выпадает много росы. Она тоже помогает выжить. Цветам и деревьям. И я, бывает, ею умываюсь.

Ох, голосок! Легкий, певучий. Как ветерок, что струится сквозь узорную решетку бадгира.

– То-то щеки у тебя как розы. – И, наклонившись, он ей шепнул на ушко:

Утром лица тюльпанов покрыты росой,
И фиалки, намокнув, не блещут красой.
Мне по сердцу еще не расцветшая роза,
Чуть заметно подол приподнявшая свой.

– Соблазняешь? – засмеялась Зара. – Говорят, ты это умеешь. Мы наслышаны здесь. Берегись! Я шучу и смеюсь, и свободно болтаю с тобой, но это вовсе не значит...

– Чего?

– Того, – тихо сказала она, опять растерявшись.

– Именно «то» меня и волнует больше всего, – глухо сказал Омар. И прочитал ей другие стихи.

О газель! Я подобных тебе не встречал.
Я до встречи с тобой горевал и скучал.
Дай мне полную чарку и выпей со мною,
Пока чарок из нас не наделал гончар...

– Очень лестно, – вздохнула девушка с усмешкой. – Крепко действует. Но... Он не мог глаз своих оторвать от красных ее, как зерна граната, влажных маленьких губ.

– Выйдешь замуж за меня?

– Не отдаст община, – прошептала она. – Ты иноверец. Меня убьют, брата выкинут вон из Йезда. Перейдешь в нашу веру, останешься здесь, – может быть, отдадут...

Омар сразу остыл.

На Экдес он не мог жениться, потому что не был правоверным шиитом. На Эль-Мирре не мог жениться, потому что не был правоверным суннитом. На Заре не может жениться, потому что не правоверный огнепоклонник. Случись ему попасть в племя черных людоедов, за него бы не выдали замуж курчавую губастую красотку, потому что он брезгует есть человеческое мясо...

Ко всем надо подлаживаться! И никто не хочет подладиться к нему, к Омару Хайяму, как таковому.

Жаль, денег нет у него хороших. Золото – главное божество для всех этих «правоверных». Тем более, для огнепоклонников, которым их учение даже предписывает добиваться житейских благ. Выложи тысячу десять – и забирай ее с дивным ее голоском и синими глазами. Будь ты хоть буддист или иудей. Но где их взять, тысячу десять?

– Но ведь ты не изменишь своему исламу? – спросила она со слезами.

– Почему бы нет? – пожал плечами Омар. – Ради такого цветка...

«Не все ли равно, чем удавиться, – подумал он весело, – мусульманской чалмой или зороастрийским зуннаром».

– Мой брат входит в совет жрецов огня – атраванов. – Зара с надеждой взглянула Омару в глаза. – Он гербад – младший священнослужитель.

– Я поговорю с твоим братом...

Город оказался на редкость чистым. По зороастрийскому учению, грязь, мусор, сорная

трава – прибежище злых духов. И потому весь Йезд будто вылизан. Город веселый, народ здесь приветливый. У женщин открытые лица, открытый смех. На базаре открыто торгуют вином. Хочешь, на месте пей, хочешь, бери домой. Никто тебе слова худого не скажет.

Омар и на месте выпил, и бурдюк вина взял с собой. Еще и барана живого к нему добавил – и, наняв мальчишку помочь, отправился, повеселевший, с Зарой к дому Кавада-заргара.

С плотных страниц древней книги взлетают слова:

«Я проклинаю дэвов!

Как почитатель Мазды, как последователь Заратуштры, приношу я обет быть врагом духов зла и тьмы, соблюдать учение Ахуры, превозносить амеша-спента – вечных святых.

Благому, обильному богатством Ахура-Мазде я обещаю все доброе и все лучшее. Ему, величавому, великолепному, принадлежит рогатый скот, свет и праведный рай...»

Напряженно звенит голос жреца, произносящего символ двухтысячелетней маздеистской веры. Веры былых кочевых племен, очень рано перешедших к оседлости и земледелию – и враждовавших с буйными соседями, у которых сохранился старый скотоводческий уклад.

Уже тогда мир для них четко распался надвое. Как сутки – на светлый день и темную страшную ночь. Которую можно прогнать лишь огнем.

...Огромный бронзовый светильник на подставке в два локтя высотой. В нем пылает огонь – вечный, неугасимый. Может быть, ему уже пять столетий. Гебры его сохранили даже в годы гонений и притеснений со стороны мусульман, несли в горшках из храма в храм, скудно питая древесным углем.

Здесь он горит свободно, к нему приставлен человек, который зорко следит за пламенем и постоянно подкладывает в большой светильник сухие ветви плодовых деревьев. Обязательно очень сухие, чтобы не чадили, – и непременно от фруктовых деревьев, чтобы дым, возносящийся к небу, был сладок и приятен.

Сегодня – особый день, и потому жрецы добавляют в огонь понемногу ладана и мирры. Хорошо пахнет в загадочной полутьме закопченного помещения. Вообще-то сюда, внутрь храма, где горит вечный огонь, не пускают посторонних. Чтобы кто-нибудь недостойный не осквернил священный огонь нечистым взглядом или дыханием. Но Омару позволили проникнуть в аташ-кеде, – община, похоже, имеет на него свои какие-то особые виды. И все же ему перед тем пришлось завязать рот кисейной повязкой.

Пляшет в бронзовой чаше золотое чистое пламя, золотые блики скользят по гладким, без украшений, черным стенам. Черное с золотом – благородное сочетание. Таинственно в храме, странно и экзотично. И можно б сказать – необыкновенно прекрасно...

Если б в этом был хоть какой-нибудь здравый смысл. «Но все же он притягателен, зороастризм, – думал Омар, когда они с ювелиром возвращались из храма. – И вполне понятно, почему часть его приверженцев, самых стойких, несмотря ни на что, упорно держится за старую веру. И за несколько столетий мусульманского засилья не изменила ей.

Не было в мире учения более философского, этического чем зороастризм.

«Есть два гения, наделенных разными устремлениями добрый и злой дух – в мыслях, в словах и действиях. Между ними идет вечный бой. Выбирайте между ними двумя, будьте добрыми, а не злыми».

Бог света Ахура-Мазда не похож на тяжеловесных каменных богов древних греков, римлян и современных индийцев. Это, скорее, символ, олицетворение добра, правды, мудрости. Враг его Анхро-Манью – дух зла и лжи, всяких пороков. И амеша-спента суть понятия чисто моральные: Ваху-Мано представляет собой добрый разум, Аша-Вахишта – высшую святость, правду и счастье, Харватат – благополучие и здоровье. Отличительное свойство зороастрийских богов, главных и второстепенных, – одухотворенность. Это не кумиры, не идолы, не истуканы иных вероучений. Иранцы – своеобразный народ, одаренный, и религию они создали особую, соответствующую их душевному складу.

В конце концов, говорит их учение, добро одержит верх над злом. Пусть на том свете!

Главное – зороастризм не отвергает борьбы. То есть основы всякого движения. Тогда как ислам допускает лишь слепую покорность, безропотность».

Вот если б только заменить у зороастрийцев на более сносный их варварский способ погребения умерших...

Поистине, странный народ. Поскольку главное в человеке – душа, огнепоклонники совершенно не интересуются телами усопших. Все, что связано со смертью, у них считается нечистым. Нечист всякий труп. Он никоим образом не должен соприкасаться с чистыми стихиями – землей, водой и особенно огнем. Потому его нельзя зарывать, бросать в реку или, боже упаси, сжигать.

Усопших оставляют в круглых башнях молчания – дакмах на растерзание хищным птицам. Омар однажды побывал в заброшенной древней дакме и знал, как она устроена. Верх дакмы представляет собой ступенчатую воронку с колодцем посередине. Три концентрическими кругами колодец охватывает прямоугольные углубления: наружные для покойников-мужчин, средние для женщин, внутренние для детей.

В действующих дакмах особые служители укладывают в эти углубления раздетых догола покойников. Едва служители уйдут, а то и прямо при них, грифы и коршуны, выжидательно сидящие на парاپете башни, жадно слетаются к трупу и расклевывают его до костей, которые будут затем сброшены в колодец.

«Некрасиво, конечно, – подумал Омар брезгливо. – Но разве нынче наша страна – не та же зловещая Башня молчания?»

Всю жизнь человек мечется, рвется, отбивается от нападающих со всех сторон хищных блюстителей правой веры: умрет – к его трупу, точно стервятники, слетаются те же законники. Заупокойные молитвы, – за них следует щедро платить. Обильные угощения. Несправедливый раздел наследства, – женщине полагается доля, равная лишь половине доли мужчины. Неоднократные поминки, разорительные для родственников. Из-за них влезает в долги и нищают.

Человека терзают при жизни – его терзают и после смерти. И все молчат. Попробуй рот раскрыть.

Башня молчания...

И кто знает, что лучше: стать добычей гнусных, слепых и безмозглых червей, бессмысленно копошащихся в сырой земле, или вольных птиц, гордо взмывающих к солнцу?

Все у них, в общем-то, правильно, у последователей Заратустры. Но, скажите, при чем здесь Омар Хайям?

«Веру можно переменить», – угрюмо сказал он себе. Все вероучения стоят друг друга, и Омар к ним ко всем одинаково безразличен. Однако менять, перестраивать себя, свою душу, ломать свой внутренний мир, чтобы угодить чему-то, совершенно ему не нужному, Омар не способен.

Даже ради Зары. Никакая Зара, будь она и впрямь золотой, не заменит ему весь мир. Наоборот, мир для него сузится с нею до пределов подвала, их летнего подземного жилья. Откуда не видно звезд.

Пусть пьяницей слышу, гулякой невозможным,
Огнепоклонником, язычником безбожным, —
Я верен лишь себе. Не придаю цены
Всем этим прозвищам,
пусть правильным, пусть ложным...

«Хватит! Мало горя хлебнул? Ну их всех...»

– Нельзя ли ускорить работу? – хмуро сказал Омар. Заргар, почтительно шедший чуть позади, удивленно взглянул на него.

– Как будет угодно приезжему! Не приглянулось ему у нас, – вздохнул он с миндальной горечью. – Я так полагаю. Или я ошибаюсь? – Отблеск священного огня угас в

его синих глазах. – Я вчера уже вставил шар в деревянный зажим, просверлил и насадил на стержни, чтоб не крутился в тисках. Сегодня буду пилить, шлифовать.

Занге-Сахро! Она так и осталась несбывшейся мечтой. Зато Омар Хайям вновь обрел свое зрение. Что дороже золота во всех его обличьях.

Прощай, славный Йезд. Город ангелов...

И вновь – Нишапур. Омар с тревогой спешил к своей хижине: на месте она или, может, ее успели снести, пока он был в отъезде?

... Навстречу ему из переуллка вышел – Хаким. Молодой муж Эль-Мирры. Идет мимо гордый, сукин сын, и будто не узнает.

– Эй! – свирепо окликнул его Омар. – Чему вас учит ваш глупый квартальный имам? Со старшими надо здороваться. Причем, почтительно.

Омар готов был его избить. И крепко схватил за ворот.

– Слем... лекм, – неохотно произнес сосед приветствие. За что его бить? Порыв у Омара сразу прошел. Этот парень просто глуп.

Но просто так отпустить его он не мог.

– Поздравляю, – ехидно сказал Омар. – Тебе повезло. Тебе с ней будет хорошо. Я научил ее кое-чему...

Хаким ничего не понял в первую ночь. Ничего не понял и сейчас. Поймет когда-нибудь. И будет всю жизнь ее терзать.

А пока – презрительно:

– Бог знает, что ты болтаешь! Я отбил у тебя невесту, вот ты и злишься. – Он самодовольно ухмыльнулся. – Выходит, я чего-то стою, раз уж Эль-Мирра выбрала меня, а не тебя, хоть ты и трижды знаменитый?

– Ну и радуйся, дурак!..

Скучно. Омар махнул рукой и пошел своей дорогой.

«Неужто и впрямь для меня нет ничего святого? – думал с печалью Омар. – Есть, братцы, есть. Но совсем не то, что свято для вас. Хоть убейте меня, мусульмане: всеобщая ложь – не порядочность и ханжество – не святость.

Ради бога, не дурачьте нас! Нам никогда не стать ни дельными учеными, ни путными поэтами, ни просто честными людьми, если мы будем стесняться – или бояться говорить правду.

Мы всегда говорили правду. И будем ее говорить. Резкую, горькую, но – правду. Уж коли считаемся больной совестью нашего времени.

Я – врач, и то, что вы со слюной на губах именуете «луноликой», для меня прежде всего «медицинский объект».

Он больше не виделся с Эль-Миррой. Стихи, конечно, она забросила. Ее, как водится, упрятали в доме и запрягли в работу.

Омар встретил ее через много лет на пути в Мекку, в захудалом рибате – странно-приимном доме. И – не узнал. Так она изменилась. И так изменился он сам. Не узнал он также, что на другой же день после этой нелепой встречи их караван был разграблен, муж ее убит, и ей пришлось коротать свой век вместе с козами в дымной каменной хижине старого предводителя горных разбойников.

...У Хакима – свои заботы.

«Почему я дурак?

Вот я думаю сейчас, – значит, умею думать. Я умею читать и писать, – пусть кое-как, но умею. Я умею предвидеть и хорошо устраивать свои дела: умрет отец, я брошу пекарню и займусь торговлей. Нужную сумму я уже накопил, тайком от родителей. Я умею подойти к нужному человеку, соержу в достатке свой дом и жену. Я сыт, одет и обут. Я живу не хуже, а лучше каких-то там знаменитых беспутных поэтов.

Почему я дурак...»

По утрам уже довольно прохладно. На рассвете, который теперь наступает позже, тяжело колышутся на свежем ветру чинары, высоко наверху отчетливо слышно шумит черный тополь, и холодные тусклые звезды сиротливо мелькают среди темных клонящихся ветвей.

Лето кончалось. Где они, короткие душные ночи? Ставней Омар еще не закрывал, но на ночь уже приходилось укрываться потеплее.

В горах сгущались тучи. У Омара все чаще болело плечо.

Ах, эти строители... Благородное ремесло, конечно. И гордое. «Мы – строители». Золотые руки! У настоящих. Но есть и такие, о которых говорят: «Чтоб у них руки отсохли...»

Но у них-то руки не отсыхают...

Самая худшая тварь на свете – человек, который плохо делает свое дело.

Рухнули кое-как скрепленные жерди лесов, Омар упал и разбил плечо. Видно, был перелом. «Заживет, некогда с ним возиться». И зажило. Но теперь приходится пить мумие и втирать в плечо всякую жгучую дрянь. Рука цепенеет, роняет перо.

Тут еще проклятое стекло. Омар никак не может привыкнуть к нему. Где-то оставляет, забывает. Долго ищет, ругаясь. Утомительно, когда пишешь, держать его всегда перед собой, сощулив левый глаз.

Зато он видит! Все-таки чудо это стекло. Отними от глаза – все плывет на странице. Поднеси – из белой мглы выступают четкие буквы...

Но работа застопорилась. Поэт опять сидит без денег. Разорила его Эль-Мирра. Поездка в Йезд поглотила остатки сбережений. В кладовой сохранились, правда, скудные припасы, он варил раз в день убогую похлебку.

Из дому, однако, не вылезал, не тащился деньги искать, занимать. К черту! Устал он бегать за деньгами. Пусть теперь они сами идут к нему...

Они пришли.

– Я – армен.

– С чем и поздравляю.

– Наша община тут... э-э... невелик, сто пятьдесят человек. Шьет... э-э... меховой шапка. Я продаю. Но базарный староста, пэрс, обижает нас, требует деньги. Ходу мне не дает, понимаешь? Затырает. Нужно писать прошение.

– Почему же ты направился ко мне, – разве на базаре мало грамотеев?

– Ты лучше всэх! Я знаю. Ты – гусан... э-э... поэт. Я хорошо заплачу.

– Как тебя зовут?

– Мкртч.

– Как, как?

– Мкртч.

– Яснее!

– М-к-р-т-ч.

– О боже! Мр... кр... Ты что, погубить меня хочешь? У меня зубы выпадут, если я произнесу твоё столь певучее имя. Несмотря на всю их крепость. И пальцы сведет навсегда, если его напишу.

– Не смэйся. У меня от твоего имени горло судорогой сводит. Я – не смэюс. Нэ в этом дело!

– А в чем? – насторожился Омар. Он почувствовал, что армянин сообщит ему сейчас нечто важное, серьезное.

– Султан Баркъярук уступил Хорасан, Мэрв и Хорэзм брату Санджару. Царевич на днях будэт здэс. Вэзирь – Фахр ибн ал-Мулк, одын из сыновэй покойного Нызама ал-Мулка. Мы хотым подат ему прошение.

– О! Вот это новость. Откуда ты знаешь?

– Мы все знаем. Надо знат, если хочеш жит.
Омар отказался писать:
– Я не вижу. Обратись к другому. – Он не хотел, чтобы кто-нибудь в Нишапуре увидел его стекло...
– И то верно. Посмотрим, чем все это обернется для нас.
– Хорошо, напишу. Давай рассказывай по порядку...

Затем явился сосед, художник Сафар, с которым они было поссорились.
– Угостишь? Тянет выпить.
– Чем? Сижу без фельса. Ты должен меня угостить! Ведь ты получил что-нибудь за своего Искандера? Или не заплатили?
– Хорошо заплатили. Но, знаешь, дом, жена и дети...
– А-а. У меня нет никого. И мне никто ни за что не платит.
– Не умеешь жить.
– Как не умею? Я знаю философию, астрономию, математику. Историю и географию. Я умею играть на дутаре, слагать стихи и лечить больных. Даже еду сам себе готовлю. Что еще нужно знать, чтобы жить уметь, – в вашем смысле?
– При эмире Аргуше состоит в придворных поэтах некий Хусейн Абдаллах. У него богатый дом, лошади, слуги. Окружен почетом, благоденствует.
– Окружен почетом? Благоденствует? – Омар чуть не заскрипел зубами. Все тычут ему в лицо его неудачливостью. Надоело! – Значит, он жулик, а не поэт. Честный поэт в наше время не может благоденствовать. Его удел – бедствовать.
– Брось свою никому не нужную книгу. Возмись за торговлю, что ли. Скупай по дешевке у кочевников шкуры, продавай их местным кожевникам. Очень выгодно. Я этим занимаюсь.
– Не стыдно? Художник. Я – не могу. Я делал – и буду терпеливо и добросовестно делать то, что умею. То, в чем вижу свое призвание.
– Ну и сиди без фельса!
– Просижу. Не страшно.

Но и впрямь что-то нужно предпринять. Чтобы заработать приличную сумму. На мелких подачках за лечение больных и сочинение прошений не проживешь. То есть прожить-то можно, но эта пустая, глупая работа будет отвлекать его от главного – от многотрудной «Книги печали»...

«Жениться нам, таким-этаким, нельзя. Заниматься числами и звездами – тоже. Пить вино – запрещено. Четверостишия злые сочинять – опасно. Что же делать, чем жить? Э! – осенило его. – Едет Санджар. Преподнесу ему хвалебную поэму. Разве я не знаю правил стихосложения? Не съел собаку во всех этих ритмах и рифмах? Многим нос могу утереть. Получу хорошую награду – и освобожусь от дурацких забот о еде и дровах. Одежды, – той, которую я имею, простой, грубой, но прочной, мне хватит надолго:

Хорошо, если платье твое без прорех.
И о хлебе насущном подумать не грех.
А всего остального и даром не надо, —
Жизнь дороже богатства и почестей всех.

Ну-ка, посмотрим, как это делается...» Омар взял с полки несколько тонких книжек. Сперва Рудаки, – о нем мы уже говорили:

Бухара – небесный свод, князь – месяц ясный,
В небе надлежит блистать ему.

Сойдет. Теперь – Фирдоуси:

Едва лишь младенец свой рот
материнским смочит молоком,
Лепечет он имя «Махмуд»
непокорным еще языком.

Это он – о султанах Махмуде Газнийском, который после ссоры много лет преследовал его.

Фаррухи:

В окруженьи приближенных
шах великий и могучий.
Как он радостен сегодня!
Сколько солнца! Скрылись тучи!

Это – об удельном князьке Абу Музафаре, правившем Чаганианом. Фаррухи получил за касыду коня с царским убранством, две палатки, трех мулов, пятерых невольников, дорогую одежду, ковры – и целый табун жеребят в придачу...

Абу Бакр Азраки – о Царевиче Туганшахе, сыне Алп-Арслана:

Если шах пожелал три шестерки,
а выпало три единицы, —
Не считай, что игральные кости
посмели не подчиниться:
Цифры те, что задумать изволил
сейчас шахиншах.
Перед шахом трепещут
и падают ниц, не дыша.

Смешно! Ни эмир Абу Музафар, ни царевич Туганшах никакими такими особенными достоинствами не отличались. Во всяком случае, никогда не были шахами и шахиншахами, то есть царями и тем более – царями царей. Единственным же качеством, которым прославился султан Махмуд Газнийский, была его дикая свирепость. И уж если дети лепетали имя султана, то вовсе не с умилением, а со страхом...

Что же мы напишем о царевиче Санджаре? Чем прославился он, восьмилетний мальчик? Хорошо стреляет из лука, владеет саблей? Каждый тюрк должен с детства это уметь. Отличается острым умом? Туповат, бедняга. Добротой? Нет, он злобен и мстителен.

Что же успел он совершить, чтобы о нем касыды писать? Этот рябой сопляк, которого сам Омар спас от смерти? Можно было бы, конечно, обыграть его принадлежность к славному роду Сельджукидов, – мол, царевич еще мал, но это – львенок; в нем течет кровь его деда, героя-льва Алп-Арслана, и Санджар, окрепнув, еще покажет себя.

Но... ведь это все тот же «аромат мыла».

Омару вспомнился давний случай, вычитанный где-то в старой книге. Один эмир просил арабского поэта Саламу ибн Джандаля воспеть его подвиги. Поэт ответил: «Соверши – воспою». То есть пока тебя восхвалять еще не за что.

Теперь так не скажешь, времена другие. Но отказаться от глупой затеи – писать хвалебную поэму о ничтожестве – вполне в наших силах. Пусть не дадут нам коня в царском убранстве, невольников, мулов и десятки жеребят. Они нам ни к чему. Обойдемся.

И вместо оды Омар написал еще одну главу своей «Книги печали». Главу, страшную по содержанию – и по своей резкой правде, без недомолвок и околичностей, без ложной стыдливости.

«Рассказ о Дибиле.

Поэт Дибиль ибн Али ибн Разин был родом из Куфы. Это ему принадлежат стихи:

Где юность моя?
Я долго искал ее, звал...
Осталась где-то, куда
никто и не забредал.
Она пропала!
Не удивляйся, Сальма, тому
У кого седина засмеялась,
а он – зарыдал...

Дибиль до омерзения ненавидел и презирал всех, наделенных властью. Он горько скорбел об упадке нравов при дворе властителей из рода Аббасидов и не щадил в сатирах ни распутных халифов, ни их визирей и эмиров.

От него доставалось всем халифам, жившим при нем: аль-Мутасиму, аль-Мамуну, аль-Мутаваккилю.

Об аль-Мутасиме, – обыграв легенду из корана о семи святых, спящих в горах, – он говорил:

Из Аббасидов семеро править должны, —
если записям верить...
Но манускрипт о восьмом
известий до нас не донес.
И вправду, семеро праведных
крепко спали в пещере,
Но находился среди них
и восьмой. Это был пес.

Об эмире Абу Ибаде, придворном халифа аль-Мамуна:

Из всех дел, на провал обреченных, —
если хотите знать правду,
Первое – то, что попало
в руки злому Абу Ибаду.

Со справедливостью этих слов соглашался даже халиф...

Придворный стихоплет Ахмед ибн Абу Дауд – блюдолиз, доносчик, продажная тварь – взял себе в жены в один год сразу двух девушек из племени Бану Иджль. Дибиль высмеял его:

Ты изнасиловал род Бану Иджль
дважды в год,
Ты испортил его, но не исправил
подлый свой род.

Да, Дибиль был остер, злоязычен и не выбирал выражений, разоблачая гнусность насквозь прогнившего царского двора.

Может быть, излишне злоязычен?

Но ведь он был поэтом. А поэт не может обойтись без заострений и преувеличений.

Таковы законы стихосложения. Бичевать пороки, сосредоточив на них, пусть через самый грубый образ, все внимание читателей, его право. Более того, обязанность. Для чего же иного нужен поэт? Жизнь не цацкается с нами, почему мы должны цацкаться с нею? Услаждать слух правителей – дело музыкантов и певичек.

Вот халифам и эмирам полагалось бы вести себя поприличнее, уж коль они считаются «тенью аллаха на земле»...

Понятно, почему Дибиль всю жизнь был в бегах. За ним охотились, он ускользал. Но однажды, – это случилось в Басре, – его сумели схватить.

Эмир Исхак ибн аль-Аббас приказал принести палку и бить несчастного. Затем его отпустили, и Дибиль бежал в Ахваз.

Но другой эмир, Малик ибн Таук, более мстительный, чем Исхак, послал за Дибилем, пообещав десять тысяч дирхемов слуге, которому велел поймать и убить поэта каким угодно способом. Убийца настиг старика в Сусе и умертвил после вечерней молитвы, ударив сзади по ногам палкой с отравленным наконечником...

То, что с поэтом-строптивцем обошлись так жестоко – не удивительно: здесь, на Востоке, привычны к издевательствам. Удивительно то, что нашелся негодяй, тоже «поэт», некий Хасан ибн Зайд, который восторженно, злорадно смакуя подробности, описал эту жуткую историю в грязной касыде, самонадеянно названной им «Неопровержимой», – с явной целью очернить поэта-страдальца и обелить мерзавца-эмира».

– Пусть у меня рука совсем отсохнет, – угрюмо сказал себе Омар, – если я напишу хоть слово в угоду царям и царевичам.

Поэзия – это мечта. Ее назначение – вовсе не подсобное служение часто меняющимся прихотям еще чаще меняющихся правителей. Она не служанка, она сама госпожа. Ее цель – вырвать, хоть на час, человека из серой повседневности и раскрыть перед ним в черных тучах просвет к сверкающим звездам. Она, хоть на час, облагораживает человека и его отношение к окружающей его глухой обыденности.

Есть ценности сиюсекундные, – есть ценности вечные, непреходящие.

...Резкий стук лошадиных копыт за оградой. Грохот в калитку. И зычный голос:

– Здесь живет Омар Хайям?

День и ночь гремели барабаны, ревели трубы. Празднично, с обильным угощением, с богатыми дарами, встречал Нишапур царевича. Пировали во дворце городского правителя. Пировали у главного судьи, а также у шейх уль-ислама. Затем у главы местных купцов. За три дня в городе наполовину сократились съестные припасы. Маленький Санджар не мог один съесть так много. Зато у него было много приспешников, и ели они куда больше...

Омар Хайям, закрывшийся наглухо дома, ничего об этом не знал. Правда, слышал краем уха непонятный шум, ощущал какое-то движение на улицах, но оно его не касалось. Три дня не спеша писал он рассказ о Дибиле. Вместо хвалебной касыды в честь царевича Санджара.

... Остановились отдохнуть во дворце окружного правителя, эмира Аргуша. Здесь к царевичу явились двое неизвестных, по одежде – мусульмане. Один предъявил визирю Фахру ибн аль-Мульку представительное письмо от государя Магриба, аль-Моравида; второй, как оказалось, приехал из Пенджаба.

Их привели сюда, как они сами об этом сказали, не столь дела торговые, сколь желание увидеть мир и завязать отношения с государями из дома Сельджукидов. Почетные гости. И снова – пир. Их обласкали, щедро одарили.

– Магриб – это где? – спросил после обильной еды Санджар.

– О! Далеко. На Западе Африки, – махнул рукой носатый магрибский гость.

– А Пенджаб?

– Это Индия, – объяснил другой гость, не менее носатый.

Разве что бороды у них не совсем похожи: у одного она более курчава, у другого – менее. Да еще у первого на голове – платок, перехваченный жгутом, у второго – тюрбан.

– Всем ли довольны приезжие? – осведомился добрый Фахр аль-Мульк. – Никто не обидел их у нас, ни в чем не отказал? Не дать ли провожатых, которые смогли бы показать им город? Здесь немало достопримечательностей.

– Всем довольны, слава аллаху! Спасибо. Мы уже осмотрели все местные достопримечательности. Но, жаль, пока не увидели главной.

– Какой? – нахмурился Санджар. Он часто щурил глаза и хмурил брови, полагая, наверно, что будущий царь должен выглядеть грозным. И только забывшись, допускал на рябое лицо обычное выражение. Надо сказать, глуповатое.

– Ведь здесь, в Нишапуре, живет, по слухам, поэт Омар Хайям? Искали – не нашли. Никто не знает, где его дом.

Глаза Санджара широко раскрылись. Он, удивленный, обратился к визирю:

– Разве он еще жив?

Фахр аль-Мульк украдкой бросил вопросительный взгляд на эмира Аргуша. Грубый степняк, не стеснясь, открыто пожал плечами.

– У меня есть свой поэт, Хусейн Абдаллах. – Он горделиво тронул усы.

– Хусейн Абдаллах? – удивился гость из Пенджаба. – О таком не слыхали.

– Хотите увидеть его? Я позову.

– Нет, спасибо. В другой раз. Сейчас мы хотим увидеть Омара Хайяма.

– Я его не знаю! – рассердился Аргуш.

Гость из Магриба – с тоскливым недоумением:

– Весь мир знает Омара Хайяма. Но у себя на родине он, как мы видим...

– Верно, пожалуй, сказано: «Нет пророка в своем отечестве», – вздохнул гость из Пенджаба.

– Пусть уважаемые гости пока отдохнут, – нашелся визирь Фахр аль-Мульк. – Мы устроим встречу с Омаром Хайямом...

Визирь хорошо помнил дружбу отца с беспутным поэтом. Омар когда-то играл с маленьким Фахром. Носил ему сласти. И рисовал козочек, резвых, с короткими рожками, беленьких...

Между царевичем и визирем состоялся напряженный разговор.

– Он безбожник!

– Он, дозвоьте напомнить, спас вашу жизнь.

– Аллах спас меня его руками!

– Омар увековечил имя вашего отца, – да будет с ним благословение божье! – в «Меликшахских звездных таблицах».

– А мне... посвятил он хоть строчку?

– Да, Омар Хайям не пишет хвалебных касид. Но ведь не пишет и злых сатир. А мог бы, при его-то ядовитости. И на том спасибо. Он у нас особый человек, и пусть останется таким. Нет в мире силы, способной его переделать. Если юный наш государь пригreet его, в народе скажут: «Царевич Санджар – правитель благородный и благодарный». Вы слышали отзыв гостей: «Весь мир знает Омара Хайяма». Они ждут. Что мы им скажем? «Мир не знает, какой он человек, – он такой, сякой»? Мир, ваше высочество, необъятен, и то, что для нас тут страшно, для них там смешно. Нам могут ответить: «Значит, вы еще не научились ценить поэтов по их труду и таланту. Это со временем может обернуться для вас бедой. Знайте хоть это». Они разнесут о нас по земле нелестный слух...

– Плевать мне на них! – Санджар свирепо сдвинул брови.

– Нет, все же лучше прослыть в грядущих веках добрым покровителем поэтов, чем их гонителем и притеснителем.

«Прослыть в грядущих веках»... Это решило все.

– Хорошо, – кивнул Санджар. – Можешь выдать ему из своих средств пять тысяч динаров.

– Дозволит ли государь сделать мне это? – улыбнулся довольный Фахр.
– Дозволяю! Я потом, когда-нибудь, возмещу тебе этот расход.
– Государь щедр и великодушен. Теперь – вот о чем речь. Когда его приведут, вы должны будете, чтобы начать беседу, что-нибудь сказать ему.

– Я ему скажу: «Все слуги при мне, – почему ты один где-то бродишь?»
– О нет, ваше высочество! Простите. Так может сказать недалекий эмир Аргуш своему ничтожному стихоплету. Царю не следует так говорить. Причем кому? – Омару Хайяму. Да еще при посторонних. Нужно будет сказать нечто яркое, веское, в духе его четверостиший. Соответствующее обстановке как по содержанию, так и по словесному выражению. Строго, но не оскорбительно. Доброжелательно. Давайте подумаем вместе, что мы скажем ему...

Он предстал перед ними спокойный, внимательный, в простой небогатой одежде. Ничем непримечательный человек. Но скромность отнюдь не умаляла его значительности, – напротив, она подчеркивала эту значительность, исходя как раз от нее.

– Я недоволен вами, учитель! – отчеканил Санджар. Он затвердил это все наизусть, и теперь с удовольствием произнес, понимая всю важность момента: – Когда звезда государя восходит к зениту, его главный звездочет обязан быть при нем. А вы заставляете вас искать.

Он выжидательно откинулся в золоченое кресло.

«Горе мне, – «испугался» Омар равнодушно. – Ишь, как завернул. Натаскал его Фахр».

– Зенит, – сказал поэт задумчиво. Взглянул вверх, опустил голову, вздохнул. – Ведь он – не один. Так не бывает, чтобы ты ушел, а зенит остался где-то позади. Иди по земле тысячу верст, пять, десять тысяч верст, находишься в огромной толпе или будь совсем одинок, – всегда, на каждом шагу, у тебя над головой будет зенит, а под ногами – азимут. Зенит и азимут – там, где ты. Выходит, ты и есть средоточие мира. Ты, человек...

Иноземцы многозначительно переглянулись. Визирь Фахр побелел. Он не ожидал такого оборота. Ломая голову над фразой, которую должен был произнести Санджар при встрече с поэтом, визирь посчитал «зенит» своей блистательной находкой, как нечто неизбывное, строго определенное, не подлежащее обсуждению. И вдруг злосчастный зенит шатнулся и покатился в пропасть. Если Санджар поймет...

Но царевич радостно воскликнул:

– Значит, зенит всегда надо мной?

– У каждого – свой зенит, – тонко, очень тонко, почти неуловимо, усмехнулся Омар. – То, что для одного – зенит, для другого – точка чуть выше горизонта.

В это Санджар вникнуть не мог.

– Что касается звезд, – продолжал поэт так же ровно, бесстрастно, – то как звездочет я теперь царям бесполезен.

– Почему? – свирепо вскинулся Санджар.

– Я больше не вижу звезд, государь, – аллах за грехи наказал меня резким ослаблением зрения. Астролябия ныне в моих руках – все равно, что флейта в лапах обезьяны. Так что пусть юный, но мудрый наш государь великодушно, истинно по-царски, простит меня, недостойного, если я, несчастный, в силу этого печального, как осенняя ночь, обстоятельства, не смогу, при всем своем горячем, как солнце, желании, находиться при нем неотлучно, как старый верный пес.

«Мы тоже умеем загнуть, если надо...»

Его напряженный, пристальный, искательно-постигающий взгляд убедил царевича, что у поэта и впрямь что-то неладно с глазами. Санджар огорченно обернулся к Фахру.

– Жаль, – вздохнул визирь. – Но все мы в божьих руках. Почтенный Омар верой и правдой служил, пока мог, вашему великому отцу, – да будет душа его в светлом чертоге аллаха!

Он выразительно посмотрел царевичу в глаза, сделал легкий, почти незаметный, скорее бровями, чем головой, кивок через плечо. Царевич понял:

– Награди его!

По знаку визиря слуга вынес через плечо тяжелый кожаный кошель.

– Пусть учитель не сочтет пять тысяч динаров суммой, слишком малой за его былую службу султану и дружбу с моим родителем, – да не угаснет над ними двумя свет божьей правды!

– Не сочту, – хмуро сказал Омар. – Без единого фельса дома сижу.

Он не мог позволить себе встать в гордую позу, как Фердоуси и Беруни, – и свысока отказаться от награды. Слишком много лет, сил душевных и знаний отдал Омар грозному роду Сельджукидов! Он ничего им не должен, – они ему должны.

Эмир Аргуш, между тем, увидев, что визирь отошел от царевича, шепнул Санджару на ухо, чтобы насолить утонченно-вышколенному придворному:

– Лукавый перс позорит ваше высочество, стараясь показать иноземцам, что визирь щедрее царя...

Как всякий неотесанный, малограмотный, но заносчиво-притязательный человек, наделенный к тому же хоть какой-то, пусть невеликой властью, он всем нутром терпеть не мог тех, кто выше по уму, образованию и воспитанию.

К его тупому удивлению, царевич, вместо того, чтобы мстительно затаиться, крикнул звонко, с обидой:

– Визирь! Ты хочешь прослыть более щедрым, чем сам государь? Казначей! Предоставь поэту от нашего царского имени десять тысяч золотых...

Ох! Когда мы перестанем зависеть от каприза правителей?

Увидев у ног груды золота, Омар сокрушенно пожал плечами:

– Зарежут меня, если в городе узнают, какой я теперь богатый. Я возьму, государь, с дозволения вашего, с собой сотни две или три, остальное же... велите позвать саррафа и обменять всю сумму на чеки.

– Действуй, – приказал царевич визирю. Ему нравилось повелевать.

Много ели, много пили. Пели. Омар, захмелев, читал свои стихи, – о вине, о любви, не касаясь опасных тем:

Дай вина! Здесь не место пустым словесам.
Поцелуй любимой – мой хлеб и бальзам,
Губы пылкой возлюбленной – винного цвета,
Буйство страсти подобно ее волосам.

И много других – не хуже – и не лучше. Вот, например:

Прошу могилу мне с землей сравнять, да буду
Смиренья образцом честному люду;
Затем, смесив мой прах с пурпуровым вином,
Покрышку вылепить к кабацкому сосуду.

– Хм...

– Э-э...

– Ха-ха!

Аргуш, смекнув, что этот безвестный Омар Хайям – в чести у верховных властей, с пьяных глаз отвалил ему тысячу динаров. Гости – по пятьсот. Ничего. Все как следует быть. В конце концов, писать стихи и читать их – его ремесло. Эти люди, покупая как можно дешевле и продавая как можно дороже, торгуют чужим. Он – кровным, своим. Профессия...

Во второй половине дня, сославшись на старческую усталость, Омар попросил отпустить его домой.

– Ступайте, – разрешил Санджар. – Старый Ораз с людьми проводит вас. Ведь вы его знаете?

– Знаю. Он мой давний приятель.

К Омару у входа подкатили те двое.

– Нам не терпится вновь увидеть вас...
– Зачем? – Выпив, Омар огрубел. – Я не царица Савская.
– Побеседовать с вами...
– О чем? Все в мире давным-давно известно. Хотите узнать что-нибудь обо мне лично – читайте мои стихи, там все сказано.

Они как разинули рты, так и остались с ними, разинутыми, у него за спиной.

Поэт сказал старику Оразу:

– Отойдем в сторонку. Я отсчитаю тебе пятьсот золотых, которые ты мне дал, когда меня гнали из Исфахана.

– Зачем они мне? – удивился Ораз. Он совсем одряхлел. – Ни жены, ни детей. Ни дома. Одежду, обувь – дают, ночью у походных костров, питаюсь из походных котлов. Теперь, братец, мне уже ничего не нужно. Эти деньги тебе нужнее. Я, когда нашел твой новый дом и зашел к тебе, видел: пишешь новую книгу. Вот и пиши. Упомяни меня в ней, если к слову придется. Последний раз мы видимся с тобой, – я умру где-нибудь по дороге. О боже! Сколько лет прошло с тех пор, как мы встретились тогда, на Фирузгондской горной дороге...

... Они толпились, спешившись, в устье зеленой лощины, нисходящей к дороге по склону горы. В узких глазах жестокость и жадность, тупая неумолимость. Не жди от них пощады.

– Стой! – рывкнул молодой туркмен в большой мохнатой шапке.

Он зарезал их работника Ахмеда, оказавшего сопротивление. Затем шайка очистила их повозку с припасами.

– Это что?

– Книги...

После трудной беседы о науках:

– Как тебя зовут?

– Омар.

– А меня – Ораз. Эй, грузите все обратно! Станешь большим человеком, не забудь обо мне. Запомни: Ораз...

Омару тогда было десять лет. Много раз они встречались после этого: под Бухарой, в Исфахане и здесь, в Нишапуре.

– Ладно. – Омар вытер слезы. – Помоги мне. Я теперь боюсь жить один. У вас, туркмен, хорошие собаки.

– Я отдам тебе своего волкодава. Вместе с ошейником и цепью. Он умный. Вы сдружитесь с ним.

– Веди.

Ораз, звеня цепью, привел огромного, чуть не с осла, светло-бурого пса с гладкой блестящей шерстью, с обрубленными ушами и хвостом. Красивый пес, здоровый, могучий.

– Как его зовут? – спросил довольный Омар

– Так и зовут: Бурибасар-Волкодав. Я его окликаю просто: Басар.

У пса дрогнули короткие уши, он шевельнул обрубком хвоста.

– Прекрасно. Люди нынче – не лучше волков. Не лает он попусту, как дворняга? Я этого не выношу.

– Нет, пес он серьезный. Молчаливый, как ты.

– Совсем хорошо! – Омар сунул собаке большой кусок мяса, за которым перед тем сходил на кухню.

Басар взглянул на Ораза.

– Ешь, – благодушно кивнул Ораз. – Теперь он – твой хозяин. Говори, – заметил старик Омару, – с ним по-нашему, – персидский не понимает.

Пес осторожно и бережно, деликатно взял мясо из рук Омара и степенно, чувствуя на себе их взгляды и боясь показаться слишком голодным и жадным, отошел в сторонку.

– Я его сегодня не кормил. Пусть поест – и поедем. Надо купить по пути на базаре мешок костей для него.

– Купим. Слава аллаху! – вздохнул Омар. – Теперь у меня есть бескорыстный друг и защитник. Среди людей такого не нашлось.

– А Фахр?

– Э! У Фахра – корысть. Не ради меня они тут расщедрились. А ради тех двух, любопытных. Я для них всего лишь местное диво. Диковина. Вроде носорога в клетке.

Цитадель, где жил окружной правитель Аргуш, находилась вне городской черты, в стороне; Омар предложил ехать к нему домой не через те ворота, через которые Ораз, плохо знавший город, привез его к Санджару, а через другие, поближе к дому.

– Идет, – согласился Ораз. – Тем лучше. Сразу за воротами, справа, они увидели большое черное пепелище. Обгорелые стены, обугленные балки. Это черное пятно на золотистом фоне города казалось уродливой кляксой на желтом древнем пергаменте с четкими чертежами.

Еще недавно здесь находился караван-сарай... Омар потемнел, будто вымазался копотью с пожарища, и придержал лошадь, которую дали ему доехать до дому. Басар, бежавший рядом, взглянул на него, присел и заскулил, подвывая.

– Что случилось? – окликнул поэт человека, уныло копавшегося в черных развалинах.

– Э! – с досадой махнул тот рукой. – Жил тут в келье один чудака-еврей. Вечно пьяный. Видно, спяна, подпалил свое жилье – и сжег весь караван-сарай. И сам сгорел вместе с ним.

– Эх! – с горьким надрывом, гортанно, всей грудью вздохнул, скорее – рыкнул, Омар.

Ораз – участливо:

– Знал?

– Знал... – Омар обхватил лицо рукой, крепко стиснул его. И, вместо того, чтобы произнести, как положено: «Мир его праху», сказал непонятно: – Доломит ему в шихту! И соду. И борную кислоту...

Заодно с мешком костей для Басара поэт купил баранью тушу и в харчевне «Увы мне» большую корчагу вина для гостей, людей Ораза.

Их на пиры к царевичу не допускают.

– Дед его ходил в грубом суконном халате и ел с нами из одного котла, – говорили недовольные воины.

Когда поспел шашлык, они сняли пыльные сапоги, вымыли ноги в ручье и босые, с чистыми ногами, расселись на дорогом ковре за скатертью.

Было их пятеро с Оразом. Из уважения к хозяину они сидели тихо, смирно, скупно переговариваясь. И даже выпив вина, не расшумелись, не стали спорить и придирались друг к другу, как, скажем, персы.

Поражались персам: «До чего суматошный, беспокойный народ...»

Тюрки – народ флегматичный, спокойный, неторопливый, безразличный ко всему вокруг. Хоть небо расколось – бросит степняк косой взгляд вверх исподлобья и опять уйдет в себя.

Пока не прозвучит команда: «Хош!», означающая выступление в поход, и боевой яростный клич: «Кук бури» – «Серый волк», с которым надлежит, вынув меч, кидаться в гущу сражения.

Уж тут – берегись! Народ отчаянный.

– Помнишь, – спросил Ораз, – когда мы ехали с тобой из Бухары в Исфахан, ты искал в песках между Аму и Мургабом пустынную дикую деву-мечту? Тогда не нашел. Может, после увидел?

Омар, изрядно уже хмельной, опечалился:

– Нет.

– Так много девушек в мире...

– Они, – усмехнулся Омар, – слишком... очеловечились. Та в наготы своей была

бесподобна, а эти всю красоту видят в ярких тряпках и золотых украшениях.

– Может, еще найдешь.

– Вряд ли! И поздновато – старею.

– Хош! – сказал Ораз.

Туркмены степенно, но не мешкая, поднялись...

Басар, скуля и визжа, заметался перед закрытой калиткой, Ораз, собственно, не был ему другом, добрым хозяином. Просто приятель, вроде бы покровитель. Хороший знакомый. И пинки не раз от него перепадали. Но пес привык к нему. Он вскинул большую голову и басовито и горестно взвыл.

– Тихо! – прикрикнул на него Омар. – Соседей обеспокоишь. Знаешь, какие они? Хуже волков, которых ты мастер давить. Помесь гиены с топором. Хвост тебе уже отрубили, теперь башку снесут...

Омар погладил его, успокоил. Пес прильнул к нему, как ребенок, брошенный своими, льнет к любому другому человеку, женщине или мужчине, если тот добр к нему.

Новый хозяин повел его в дальний угол двора, к отхожему месту:

– Сюда будешь ходить. Привыкай к порядку, ты степной дикарь, выросший на военных дорогах. Убирать за тобой я не стану.

Омар не очень-то жаловал животных. От них – вонь и грязь. От растений – прохлада, свежий воздух, запах приятный. Но нет растения, которое, как чуткий страж, берегло бы его сон, и, услышав ночью, как кто-то неведомый, чуть дыша, лезет через ограду, затаилось и напало в нужный миг.

Без собаки ему не обойтись.

Басар сразу освоился с новыми порядками. Омар похвалил его:

– Молодец! Понятлив, собачий сын. Чего не скажешь о некоторых людях. Пройди по садам, – любой тенистый, тихий уголок загажен.

Он, бормоча, повел собаку в жилье.

– Вот, говорят, человек по природе своей благороден, чист и честен. Но возьмем, друг Басар, малых детей. Благородству, чистоте и честности их надо учить. На каждом шагу. А рвать, ломать, лгать, воровать, грязь разводить и драться – учить их не надо. Они сами все это умеют. От рождения. Как это понимать?

Он оставил дверь приоткрытой, указал Басару в прихожей на толстый войлок у порога:

– Здесь твое место. Ложись.

Басар послушно лег, положил голову на лапы. Пес печальными глазами следил за Омаром, который, слегка покачиваясь, слонялся из угла в угол и разговаривал сам с собой:

– Не всех воспитание делает хорошими! Если хороший человек – всего лишь продукт воспитания, это искусственный человек. А природные задатки? Если у кого короткие пальцы, которыми он не может охватить гриф рубаб, он никогда не станет музыкантом. Понятно, ваше степенство «миршаб», владыка ночи? Волки от вас бегут, а блохи – нет. Сосут вашу кровь за милую душу. Каждому свое. Ну, «хош»! Будем спать...

При слове «хош» Басар, привыкший к тюркским военным командам, вскочил и отправился во двор нести караульную службу.

Один из дворцовых служителей Аргуша, местный житель, был, как стало известно потом, связан с ворами. Он сообщил друзьям, что поэт Омар Хайям получил в Цитадели пятнадцать тысяч динаров чеками и две тысячи – наличными.

Но, оставаясь внутри помещения, он не узнал, что туркмены подарили поэту и большую собаку...

У воров нет совести. Взывать к их человечности – труд совершенно напрасный. Если б у них была совесть, они бы ворами не сделались. Тем не менее они называли себя «джаванмардами», то есть «благородными».

Но находился среди них один молодой, еще не совсем испорченный. Он только входил во вкус легкой жизни, и дым курений не окончательно вытеснил из его головы заветы отца и

матери. Он сказал:

– Нехорошо. Все-таки – поэт.

– Э! Мы этого поэта сколько раз раздевали пьяного и деньги у него отбирали. Ничего с ним не стряслось. Живучий. Подумаешь, поэт. Чем мы хуже?

– Нет, нельзя. Стыдно! Мы сами читаем его стихи наизусть, восхищаемся, удивляемся: как обыкновенный человек, такой, как мы все, может так писать? И вдруг полезем ночью к нему домой, чтобы ограбить. Я не пойду.

– Как хочешь! Мы пойдем вдвоем с Ахмедом, – сказал Мохамед. – Две тысячи, которые Омар взял с собой, тут же разделим, а чеки, повременив, обменяем в Рее или Тебризе. По восемь с половиной тысяч за ночь – и не паршивых дирхемов, а полновесных золотых динаров... это богатство! Я дом куплю и женюсь на Зохране. И дочь ее будет моей...

– А ночная стража? – напомнил Рахмет.

– Не смейся.

– А если Омар поднимет шум?

– Прикончим. Пикнуть не успеет.

Нет, не пришлось ему дом купить. И Зохране, как была, так и осталась разведенкой. И юная дочь ее досталась другому... В их руках мерцали длинные ножи, и Басар догадался – враги.

– Дверь открыта, – шепнул один другому.

Пес выждал, когда они, мягко спрыгнув с ограды, взойдут на лестницу. И здесь, в удобном месте, с ревом бросился на них. Один сразу свалился вниз, другой стал отбиваться пинками и отмахиваться ножом. Но Басар был привычен увертываться и от конских копыт, и от копий и вражеских сабель, – не раз, вместе с хозяином, бывал в рукопашных стычках.

И не раз в степных поединках, схватив матерого волка за шею, рывком вскидывал вверх – и ударял о землю. И в частых драках с другими собаками всегда выходил победителем. Редкий пес. Грозный пес. Он вцепился разбойнику в ногу, стащил с лестницы и с хрустом перекусил ему руку. Затем накинулся на второго.

Ужас грабителей был неописуем. Они не ждали такого оборота. Откуда вдруг взялся этот проклятый пес?

– Мы пропали! Пропали...

В Нишапуре тьма бродячих собак. У них свои законы, своя иерархия. Ночью они ходят стаей и, встречаясь у мусорных свалок с другими стаями, вступают с ними в кровавую драку. За жирную кость, за место под холодной луной. Так что к их возне, к внезапному визгу и гвалту люди давно притерпелись. И не спешили вставать.

Но когда в темноте, вместе с лаем и рычанием, взметнулся истошный крик человеческий, соседи встревожились. К тому времени, когда они испуганно ринулись на улицу, и Омар, тяжело проснувшись, вышел на шум с дубинкой, и с дубинами в руках, оттуда, где Зеленый базар, прибежали стражники, Ахмед был уже мертв, – Басар перегрыз ему горло, а Мохамед – искалечен.

Он-то и расскажет потом, как все получилось... Миршаб узнал их при свете факела:

– А! Это те двое. Мы который день их ищем...

Унесли.

Соседи, потоптавшись и пошептавшись, уныло разбрелись. К Омари зашли лишь двое: художник Сафар и каллиграф Осман.

– Теперь не уснуть до утра, – мрачно сказал Омар. – Не дали отдохнуть. Я вчера перепил на пиру у царевича, так что весь разбитый. Там, в прихожей, в углу, – сказал он Сафари, – в корчаге осталось вино. Тащи...

Омар не страдал слюнявым человеколюбием и не жалел погибшего громилу. Туда ему и дорога. Лежать бы поэту сейчас с перерезанным горлом, если б не Басар. И не его Омарова, предусмотрительность. И «Книга печали» осталась бы недописанной. Только из-за того, что ленивая, пустоголовая подружка этого ничтожества любит сладкое и ей страсть как хочется вдеть в уши золотые серьги с изумрудами...

Но и радоваться тут особенно нечему. Хорошего мало.

Утром, смыв кровь на земле и на лестнице, Омар, вновь захмелевший, кормил Басара остатками вчерашнего шашлыка и слезно жаловался ему:

– Все они – правильные! Царевич Санджар, визирь Фахр, эмир Аргуш. И мой сосед Сафар, хоть он и художник. Тоже правильный. Даже те, двое, которые лезли к нам ночью. А мы с тобой – неправильные. Тебе, например, по всем правилам следует хлопать ушами и вилять хвостом. Но их нет у тебя, – отрубили, чтоб ты был злее, чтоб не мешали драться. А я – вообще черт-те что. Ладно! Утешимся тем, что все одаренные – неправильные. Одаренность – сама отклонение от нормы. Пусть они учат нас жить, – проживем как-нибудь по своему разумению...

Басар сочувственно слушал его.

– Эта миска теперь будет твоей, – заботливо подвинул к нему поэт самую лучшую, красивую миску из обожженной глины.

Он понял, что Басар занимает на земле свое особое место и его следует уважать. Даже как личность. Такими помыкать нельзя. С ними можно только дружить – на равных.

А соседи? Бедные соседи. Их еще вчера днем взбудоражил слух, что за Омаром приехали и увели его. «Наконец-то!» Но затем он вернулся, и вроде бы не пустой. Говорили, был на пиру у царевича. И будто денег много дали ему. Аллах знает, что. Везет человеку. Тут еще – ночное событие. Ну их. Пусть разбираются сами. Одно ясно – с ним лучше не связываться. Ведь мог пожаловаться царевичу: проходу, мол, нет, и туркмены подвергли бы весь квартал разгрому. Властитель делает, что хочет. Упаси бог! Все же надо признать, поэт – человек безвредный...

Спешить ему было некуда, но и зимой Омар вставал, по привычке, рано.

Он знал: никакой царь, визирь, эмир не купит его новую книгу. Слишком она беспощадна. Но он должен ее написать! Должен! Это его обязанность. Никто другой не напишет.

Впрочем, на сей раз, чтобы спасти «Книгу печали» и пристроить ее, он, пожалуй, пойдет на унижение, на сделку с совестью. Он снабдит свою повесть «благополучным концом»: все это, мол, было при прежних царях, темных и злых; теперь же, при новом царе Таком-то, просвещенном и добром, скажем, Санджаре, – все изменилось к лучшему, наука и поэзия расцвели, как никогда.

Хотя, похоже, при нем они окончательно заглохнут...

Э, там будет видно! Наше дело сейчас – терпеливо и добросовестно делать наше дело.

Зима ему не мешала. Наоборот, никогда не работается так хорошо, как в злую, мутную погоду, когда на улице мерзко и слякотно, а в доме чисто, светло, тепло и уютно. Никто не мешает. В жаровне рдеет древесный уголь, пахнет легким дымком. Басар лежит в сторонке и без усталости смотрит, как хозяин водит тростинкой по белому, как снег, листу. Пес на редкость спокойный, не назойливый. Повезло с ним Омару.

В доме вдоволь всякой еды, много свечей, много дров...

Трудовая спокойная жизнь располагала к душевному покою и равновесию, когда человеку вполне достаточно того, что есть в нем самом, – и не надо ни возбуждать радость, ни гасить огорчение вином.

Тревоги, хлопоты, сумятица вторгалась извне. Кто-то к нему приходил, уходил от него. Требовал деньги за что-то. Вновь появлялось вино. Когда они слишком долго задерживались, он изгонял их безжалостно, пригрозив напустить Басара...

Зима, как обычно в этих краях, нудная, серая, но, слава богу, короткая, с осадками скудными, небольшими ночными морозами, тихо прошла, и наступило время веселых весенних гроз и шумных ливней, что, встряхнув, омывают душу, и вместе с ними явился зеленый, цветущий Навруз – Новый год...

Прошлый год для Омара был трудным. Уж очень долгим, тревожным и огорчительным был для него прошлый год. Каким будет этот?

Любил смотреть на людей, сидя на скамейке у калитки.

До чего же красив человек! Взгляд у каждого свой, рисунок губ, сложение, походка.

И красивым он стал потому, что хотел им стать. Понимал красоту и стремился к ней вековечно. И постепенно взрастил ее в себе.

Особенно женщины, их сложение...

Они тоже, проходя мимо, глядели на него, открывали лица, загадочно усмехались.

Жаль, что уровень их мышления, круг знаний и степень самосознания еще далеки от их внешних данных. «Не постигнет нас никогда ничто, кроме того, что начертал аллах». «И всякому человеку, – сказал аллах, – мы прикрепим птицу-судьбу к его шее».

Так что не трепыхайся. Даже желание хоть в чем-то изменить судьбу, греховно и кощунственно. «Достояние ближней жизни в сравнении с будущей ничтожно. На вас забота только о ваших душах».

Но это временно. Это пройдет! Все равно наука победит. И когда люди перестанут бояться бога и, одолев полосу тяжких испытаний, наконец, осознают свой разум и силу, они сами станут как боги...

– Проходите, учитель, – встал ему навстречу Газали. – Живы, здоровы, благополучны?

– Несмотря – и вопреки! – бодро ответил Омар. – Жив пока. К собственному изумлению.

– Что так? – вздохнул Абу-Хамид. И попятился к окну.

Омар, при всей своей внешней сдержанности и степенной неторопливости, из-за внутренней бодрости, что ли, общей легкости и молодого беспечного голоса, показался ему слишком резким, подвижным и шумным. Он внушал беспокойство.

– На улицах много повозок, – сказал Омар. – Еще больше грабителей. А женщин больше, чем этих и тех. Не задавит повозка, не ограбит лихой человек – то и другое с успехом сделает женщина.

– Хм, – бледно усмехнулся богослов. – Вы все такой же... добрый, крепкий. Веселый.

– А что? Вот обыватель, он боится:

бога,

царя,

начальство,

соседа,

соседскую собаку,

свою жену,

самого себя, и, хирея от беспрестанного, изнуряющего страха, умирает прежде времени. Я никого и ничего не боюсь. Потому и здоров. И долго жить буду.

Сдал Газали. На десять лет моложе Омара, а выглядит на десять старше. Весь белый, под стать его грубой суфийской одежде. Давно они не виделись. С тех самых пор, как покойный визирь Низам аль-Мульк услал его в Багдад, в медресе Низамие.

Уж коль человек, по лени своей или тупости, не способен овладеть каким-то путным ремеслом, пусть выходит он в богословы. Где ничего не надо придумывать, – все давно за него придумано. И спущено сверху. Остается только запомнить. И то не все, а самое ходовое...

Газали уже четвертый месяц, как вернулся домой, в Нишапур. Но только сегодня утром прислал Омару записку: сам не может посетить поэта, поскольку часто хворает; если Омар пожелает встретиться с ним, то найдет его в медресе Исмаила ас-Судами.

И Омару захотелось увидеть Абу-Хамида. Богослов-то он богослов, но не чета многим другим. Человек пытливый и глубоко одаренный. Впрочем, посмотрим, что из него получилось за эти четыре года...

Келья Абу-Хамида находилась на теневой стороне, сквозь решетку окна сюда проникал скудный свет. И Газали, сидевший спиной к окну, был неясен, расплывчат и казался

отшельником-схимником в глубине таинственной пещеры. И голос его, от сумрака, звучал загадочно.

Он с печалью рассказывал, из-за чего ему пришлось покинуть Багдад.

– Если учитель соизволит помнить, жажда постижения истинной природы вещей была моим свойством и повседневным желанием, начиная с первых моих самостоятельных шагов, с первых дней моей юности.

– Помню, – кивнул Омар. – Ты изрядно надоел мне своими вопросами в Исфахане, где мы строили звездный храм.

Он неохотно грыз черствый хлеб, предложенный ему Абу-Хамидом. Черствый хлеб, изюм, вода – суфийское угощение...

– Я не оставил это и в Багдаде, – продолжал Газали, зябко потирая руки. В аскетической келье его было сыро. – Я не пропустил ни одного представителя батыния – без того, чтобы не полюбопытствовать о смысле его учения; ни одного представителя захирия – без того, чтобы не загореться желанием ознакомиться с сущностью его убеждений; ни одного мутакаллима – чтобы не постичь цели его писаний; ни одного суфия – чтобы не воспылать страстью к проникновению в тайны его отрешенности; ни одного ортодокса – без того, чтобы не полюбопытствовать, к чему сводится суть его ортодоксальности; ни одного философа – чтобы не задаться целью достичь глубины его взглядов

– Скажи, какой въедливый, – заметил Омар, невольно восхищенный точностью его выражений.

Сам Хайям, со своей грубой, простонародной речью, не умел излагать мысли так четко, гладко и правильно. Разве что – в четверостишиях. Но и в них его выручала образность...

– И ни одного еретика-безбожника – без того, чтобы не проследить, откуда у него берется та дерзость, с которой он отвергает всевышнего.

– И что же? – осторожно спросил Омар. – Что извлек ты из своих исканий? О батынитах, захиритах, мутакаллинах и прочих многомудрых спорщиках можешь не говорить, – их бред меня не интересует. Что ты скажешь о философской науке?

– Убедившись перед тем, на других примерах, что опровергать чье-либо учение до того, как его уразумеешь и постигнешь суть его, все равно, что стрелять вслепую, я с засученными рукавами взялся за книги и принялся усердно вникать в эту науку...

Опасный человек! Омару захотелось вина. Он с отвращением хлебнул воды.

– За неполных два года, в часы, свободные от занятий в медресе, я овладел полным объемом философских знаний. Я увидел, что философы делятся на ряд категорий, а науки их – на ряд направлений. Но на всех философах, к какой бы из категорий они ни принадлежали, и на всех их науках непременно стоит одно и то же клеймо – клеймо неверия и безбожия.

– Уж это точно, – уныло вздохнул Омар.

Его потянуло вон отсюда, на улицу, к солнцу, цветам и птицам. В харчевню «Увы мне», где веселый народ толкует совсем о других вещах...

– Их три вида, – продолжал увлеченно Абу-Хамид, найдя в Омаре терпеливого слушателя. У всех богословов, и очень умных, и менее умных, одна болезнь – проповедовать. – Дахриты не признают бога и утверждают, что мир существовал так, сам по себе, и не имел творца. Что животное всегда происходило из семени, а семя из животного. Что так было и будет во веки веков. Это – еретики.

«Интересно, из чего ты сам произошел?» – сердито подумал Омар.

– Что касается табиан – естествоиспытателей, – горячился Газали, – проводящих изыскания в мире природы, находящих дикие породы животных и растений и изучающих их внутреннее строение, то они утверждают, например, что мыслительная потенция человека зависит от его темперамента, то есть жизненной силы. Они говорят, что немислимо возвращение того, что раз уже погибло. Отсюда они делают дерзкий вывод, что душа умирает вместе с телом и не возвращается, тем самым отвергая потустороннюю жизнь и отрицая рай, ад, воскресение, страшный суд и расплату.

«Чтоб ты сдох! И поскорей угодил в свой рай. Зачем я пришел сюда?»

Солнце уже поднялось высоко, в келье стало светлее, в ней стали виднее грязные стены. Тайнственности в келье поубавилось, проповедник утратил внушительность и его голос – загадочность:

– И третьи из них – метафизики. Аристотель, из наших – Фараби, ибн Сина. Они, глубоко погрязнув в пороках того же неверия, оказывают, тем не менее, большое влияние на умы современных людей.

– На меня, например, – кивнул Омар Хайям. – А что ты думаешь о математике?

– Надо признать, что это – доказательный предмет, отрицание которого становится невозможным после того, как он освоен. Всякий, изучающий математику, приходит в такой восторг от точности ее разделов: арифметики, алгебры, геометрии и астрономии, и от ясности их доказательств, что о философах у него начинает складываться благоприятное мнение.

– И на том спасибо!

– Он начинает думать, что все их науки обладают тем же четким и строго доказательным характером, как и эта наука, и затем, если окажется, что он уже слышал людские разговоры об их неверии и безбожии, об их пренебрежительном отношении к шариату, такой человек сам становится богоотступником.

– Так и должно быть! Знание – свет. Нетерпимость – от незнания.

– Беда в том, – Газали до того оживился, что даже взял Омара за руку, – что иные друзья ислама, в силу невежества, думают, будто вере можно помочь путем отрицания всякой науки. Они доходят даже до того, что отвергают рассуждения астрономов о лунных и солнечных затмениях! И тогда, видя несурязицу в их возражениях человек посвященный проникается к философам еще большим доверием и симпатией, а к исламу – презрением. Преступление перед религией совершают люди, полагающие, что исламу можно помочь отрицанием математических наук.

«Экая гнусная изощренность! – подумал Омар с отвращением. – И все это для того, чтобы спасти религию, которая уже трещит по всем швам под напором свободомыслия. Все равно она обречена. И ухищрения Газали для нее – все равно что мертвому припарки».

– Не имеют также, – витийствовал Газали, – никакой связи с религией, ни в смысле отрицания, ни в смысле утверждения, логика и физика. Религия не должна отклонять и врачебную науку. Все это я изложил в своих сочинениях «Тенденция философов» и «Ответы на вопросы».

– Не читал, – сухо сказал Омар. – Я подобное чтиво не признаю.

Газали пропустил его выпад мимо ушей. В течение всей беседы он будто не слышал замечаний поэта. Это и есть фанатизм: с пеной на губах, нахраписто, самозабвенно утверждать свое, не слушая возражений, даже самых дельных, заранее отнеся их к разряду несостоятельных: «Я прав потому, что это говорю я; ты неправ потому, что это говоришь ты...»

– Но меня не поняли в Багдаде, – с недоумением развел руками Газали. – Мои сочинения вызвали в среде богословов бурю негодования. Говорили, что, следуя этим путем, я могу постепенно усомниться и в существовании бога. Я был отстранен от преподавания. Мне угрожали. Пришлось уехать...

«Ясно! Умный и дельный слуга перерос глуповатых господ. Переусердствовал. Ох уж эти аскеты-подвижники, сгорающие на собственном огне».

– Выходит, – сказал Омар с ядовитой усмешкой, – даже ты, правоверный до мозга костей, не сумел угодить ортодоксам?

– Не сумел. Потому что осмелился думать о божьей правде по-своему...

– Но это же – ересь! Настоящий мусульманин не имеет права думать. Даже о божьей правде. Тем более, по-своему. Долби бездумно, как попугай, молитвы, которым тебя научили с детства, делай вид, что строго соблюдаешь предписания шариата и не задавай вопросов, – и ты в безопасности. Чем ты занимаешься здесь?

– Преподаю мусульманское право. Но это – видимость. Из Багдада, от халифа нашего,

прибыло решительное повеление: написать против разрушителей веры Аристотеля, Фараби, ибн Сины трактат «Опровержение философов», разоблачающий истинный, вредный смысл их учения.

– Вот как, – насторожился Омар.

– Этого я не могу не сделать. Я уже составил список тех, кто, находясь под влиянием упомянутых нечестивцев, нарушает догмы ислама. Я изучаю отдельных лиц, равнодушных к закону, выпрашиваю их об одолевающих их сомнениях, осведомляю о тайных желаниях. Я говорю: «Что с тобой? Почему ты так небрежен в выполнении требований шариата? Ведь не обмениваешь две вещи на одну, – почему же ты размениваешь бесконечную жизнь на считанные дни здесь, на земле?»

Солнце заглянуло прямо в келью. Внизу стен с облезлой штукатуркой, в углах обозначилась плесень. Проповедник и голос его безнадежно и мерзостно выпцвели.

«А-а! Вот зачем ты меня позвал...» – Омар потемнел. И недобро прищурил глаза.

– И первым, конечно, в твоём списке стоит мое имя?

– Да, – признался Абу-Хамид. – Согласись, ты сейчас у нас – самый вредный человек для правой веры.

– Может быть. – Омар пожал плечами. То ли он искренний дурак, то ли очень тонкий, хитрый притворщик, сей ревнитель правой веры. Негодяй. Соглядатай, осведомитель. Ну, что ж... я устрою тебе... урок богословия. – Ладно, – вздохнул он, поднимаясь. – Все в руках аллаха, не так ли? Покажи мне медресе. Давно не бывал.

В одном из помещений изучали строение Вселенной: она разделена на семь небес и семь планет. На земле – семь частей света и семь морей. Человеческий род состоит из семи рас: китайцев, тюрков, европейцев, арабов, персов, индийцев и негров. Материя состоит из четырех стихий: огня, ветра, воды и земли. Огонь находится между луной и ветром, ветер – между огнем и водой, вода – между ветром и землей, а земля окружена остальными стихиями...

Омар не стал слушать дальше и, сплюнув, пошел к выходу. Ничего не изменилось с тех пор, как он учился в этом медресе. То есть изменилось, но к худшему. Тогда здесь хоть был шейх Назир Мохамед Мансур, его мудрый наставник. А теперь всем заправляет хилый мистик Абу-Хамид Газали.

Газали, не понимая, чем он возмущен, робко следовал за ним.

Семь планет.

Семь небес.

Семь рас...

Зацепило их магической цифрой «7», как тупым серпом, и никак не отпускает. Если это всего лишь поэтически-образное восприятие мира, тогда еще куда ни шло. Но нет, сей бред выдается за вершину человеческих знаний! Семь морей. Ха! Одно Средиземное вместе с Мраморным, Черным и Азовским, состоит из восьми морей. А сколько их еще на Земле...

Не стыдно ли – в начале второго тысячелетия новой эры, после Аристотеля, Гераклита, Эратосфена, Арияхаты, Абу-Рейхана Беруни, говорившего, что «шаровидность для Земли – естественная необходимость», нести такую чушь.

– Земля есть плоскость, которая держится на роге быка, а бык на рыбе, а рыба на воде, а вода на воздухе, а воздух на влажности...

– О мусульмане! – страстно воскликнул Омар. – Хоть режьте меня, хоть кожу сдерите, хоть на костре меня жгите: если это – знание, то что же тогда крик шелудивого осла? Нам, в нашей стране, лучше скромно помалкивать о нашей древней культуре! Если из ста человек девяносто восемь не умеют читать и писать, а двое читают такую чушь, это, брат, не культура. Это дикость.

– Так положено! – строго сказал Газали. Тут он был у себя дома. – Знание есть поклонение ему... То есть богу. Зачем слепому солнце? Станный ты человек. Живешь... вне времени.

– Нет! Я-то живу во времени, в прошлом, настоящем и будущем, умея увидеть между

ними прямую связь. Это вы живете обрывками времени, полагая, что сиюминутное и есть самое серьезное и вечное. Но то, что сегодня серьезно, завтра может оказаться смехотворным. Как и то, что было серьезно вчера, сегодня уже смешно и глупо. Ладно, – сказал он примирительно. Поэт не хотел рассориться с Газали прежде времени, – это не входило в мелькнувший у него остроумный замысел проучить богослова надлежащим образом. – Беседа с вами, – перешел он на угодливый язык, – открыла мне глаза на многое. Я хотел бы продолжить ее. Не согласится ли его милость посетить как-нибудь мой убогий дом?

Газали – с аскетической скромностью:

– Наставлять заблудших на истинный путь – обязанность шейха.

– Премного благодарен! Слезно вам благодарен! Вполне по заслугам вас наделили высоким титулом «Худжат уль-ислам», – доказательство ислама. Угощение, конечно, будет не столь чистым и строгим, но...

– Я мяса не ем, вина не пью, – предупредил Газали.

– Хорошо. Учту. Я приду за вами. Прощайте.

Богослов – покровительственно:

– Прощай...

У выхода поэт столкнулся с Мохамедом аль-Багдади, своим зятем, мужем Голе-Мохтар. И на него излил всю ярость:

– Не признаешь меня, сын собаки? Так знай: ни фельса тебе не оставлю в наследство!..

И зять явился. Вместе с женой и детьми. Пока он листал книги Омара, а дети возились с добродушным псом, Голе-Мохтар в летней кухне, где они с братом стряпали жаркое, плакалась Омару:

– Ты же знаешь, как я тебя люблю, дневала и ночевала бы здесь, стирала, варила, хлеб пекла. Он запрещает. Но и его ты постарайся понять: боится тех, в медресе...

– Понимаю, – вздохнул Омар. – Займись-ка лучше луком. Я теперь плохо вижу, не нарежу так тонко, как следует. – Он взял из кучки дров кривое сучковатое полено, чтобы добавить в огонь. – Смотри-ка! – Полено было обвито, как пестрой выцветшей лентой, растрепанной сухой змеиной шкурой.

– О боже! Что теперь будет? – испугалась Голе-Мохтар.

– Ничего не будет. Сгорит. Я их живых не боюсь, – что в одной старой шкуре? Может, она сама давно уже сдохла, только шкура от нее осталась. – Омар сунул полено в огонь, шкура затрещала и вспыхнула. – У христиан, которых мы считаем заклятыми врагами, – но кого мы считаем друзьями? – хоть учат: «Люби ближнего своего, как самого себя». Ну, любят они своих ближних, не любят, их дело. У нас даже этого нет. Нам с детства внушают: человек малодушен и слаб, человек ничто. Это погань и мразь. Уж какая тут любовь. Мусульманин должен любить бога. И только бога. И ради него может оставить и дом, и семью, и состояние. Но бог далеко, и в итоге – животное себялюбие. Не потому ли мы друг с другом – как звери? Если и есть у нас что-то доброе, светлое, то оно не от веры, а от старых народных обычаев. От нас самих. От самого человека, от того, что в нем осталось еще человеческого...

– Ты умный и добрый. Прости его.

– Как не простить? Я всех прощаю.

Расстелили скатерть.

– Зря ты чураться меня! – сказал поэт, когда они обильно поели и Омар выпил вина. – Если кто и вспомнит когда-нибудь о тебе, то только потому, что ты был женат на моей сестре.

– А о тебе-то... вспомнит кто когда-нибудь? – съязвил обиженный зять.

– Еще как! Куда я денусь? Им уже не отвертеться от меня. Ладно, заживайте. Иногда...

Он дал им сто динаров. Они ушли довольные.

– У входа вас ждет паланкин. Или, может, пройдемся пешком? День чудесный.

– Я редко выхожу из медресе, – вздохнул Газали, должно быть, уже жалея, что согласился пойти к Омару в гости.

– Надо бы чаще, – взглянул Омар на его бескровное, белое, как баранье сало, лицо. – Свежий воздух, знаете...

– У меня от свежего воздуха кружится голова.

– Я вас поддерживаю.

– Хорошо, немного пройдемся. Но этих не отпускайте, – кивнул богослов на молодых здоровенных носильщиков, приготовивших крытые нарядные носилки. – Пусть следуют за нами.

– Идите поодаль за нами, – распорядился Омар. – Может статься, его милость устанет.

– Ваша воля, сударь...

Ясный день, золотистый, синий, с теплым ветром раннего лета. Если зимой мир сер и тесен, и темное небо давит на плечи, и во рту оседает сырая мгла, то теперь оно, небо, взметнулось в неимоверную даль, мир развернулся и весь раскрылся, необъятный и радостный.

Но Газали все ежится. Ему холодно в этом огромном солнечном мире. Он не смотрит на небо. Он, опираясь на палку, смотрит в землю и упорно думает о чем-то своем. Наверно, о нем же, о небе. Ведь богословы только и толкуют, что о небе. О чем же еще. Хотя никогда не взглянут на него. Ибо свет его режет им глаза, привыкшие к сумраку затхлых келий.

Тот самый свет, который не сходит с их языка: «Бог это свет небесный», «вера – свет сердца», «знание – свет»...

Омар почтительно вел его под локоть. Медресе находилось на главной площади Нишапура, мощенной круглым камнем; улицы здесь ухожены, обсажены ивами и тополями. Людное место. Встречные низко кланялись Газали, целовали его руку. Велика его слава как богослова.

Омара Хайяма никто не замечал. Разве что у Большого базара, у спуска в харчевню «Увы мне», увидев его, оживились пропойцы-бездельники.

Он украдкой сунул им золотой: «Отвяжитесь».

– Что это за люди? – проскрипел Газали.

– Это... те самые, для которых уготован огненный ад, – усмехнулся Омар. – Только вот не знаю, смогут ли они гореть: насквозь промокли от вина, – все равно, как сырые поленья. Я полагаю, сухим ханжам адский огонь опаснее...

– И ты знаешься с подобным сбродом?

Как бывает у старых знакомых, которые долго не виделись, они то переходили на осторожное «вы», то возвращались к давнему «ты».

– Почему бы и нет? Они тоже были когда-то людьми. И, быть может, хорошими. У них было светлое детство, – детство всегда нам кажется светлым, даже самое собачье, – была юность с мечтами и надеждами. Что из них получилось, сам видишь, а почему – не спрашивай, – вспомнил Омар слова Давида, сына Мизрохова. – Не все человеческие судьбы укладываются в четыре суфийских разряда: «шариат», «тарикат», «марифат» и «хакикат». Я, например, становлюсь самим собой только когда работаю. Положил перо, встал – и превратился тут же в пустой бурдюк, который следует как можно скорее наполнить вином. Боюсь, меня тоже не пустят в рай. Вот я и завожу знакомства здесь, на земле, чтобы угодить на том свете в свою компанию...

– Ах, погибнешь, погибнешь! Опомнись, пока не поздно. Спасение падших – на пути, которым идут люди нашего братства.

Омар яростно стиснул зубы. Он ненавидел это братство! Из-за отца. Это они, словоблуды, сбили с толку трудового, простого и честного человека и довели его до того, что он умер, как бродячий пес, на пороге дервишской обители...

– Я, грешный... равнодушен к суфизму. Он слишком утончен для меня. Он требует полной отрешенности от человеческих желаний. У меня же много грубых страстей, которые

я, несчастный, одолеть никак не в силах. Зато, – может быть, тебе пригодится, – у меня есть мальчик-слуга, сирота. Подобрал на базаре. Невзгоды юности настроили его на серьезный лад, и он живо интересуется вашим учением...

Газали встрепенулся. Завербовать для общины нового сторонника – мюрида – заманчиво. Юная душа, едва лишь тронутая житейской грязью. Ее можно очистить и придать ей божественный блеск...

Газали, остановившись и сунув палку под мышку, лихорадочно потирал костлявые руки.

– Мне не терпится увидеть его! Подзови этих. Поспешим...

Омар сделал знак носильщикам.

Мальчик, открыв калитку, сложил ладони вместе и низко склонился перед Газали. В белом тюрбане, в широкой белой куртке, в узких белых штанах, – это понравилось богослову, так как соответствовало его суфийским понятиям о чистоте.

Так и встретились они, оба белые, как пеликан и чайка в заливе Каспия...

Газали пытался заглянуть слуге в лицо, но тот скромно прятал его. И это понравилось Газали. Не совсем испорчен...

Хозяин и слуга помогли почетному гостю взобраться по лестнице в жилье.

Басар, лежавший в сторонке, сперва было заинтересовался новым человеком, но затем скучающе отвернулся. Даже с места не встал. Ничего особенного. Что-то белое и невзрачное. Во всяком случае, для хозяина не опасное.

Газали усадили на мягкой подстилке, набросали ему под локоть круглых подушек.

– Я кухней займусь, – сказал Омар. – А вы пока знакомьтесь... Его зовут Хамидом, – кивнул поэт на мальчишку. – Так что, Абу-Хамид, можешь считать его сыном...

Арабская приставка «Абу» к имени означает «отец такого-то», но человек не обязательно имеет ребенка с этим именем. Она указывает, скорее, на возможность мужчины быть родителем сына или дочери с теми или иными достоинствами. Так уж принято. «Абу-ль-Фатх», например, второе имя Омара, переводится как «Отец завоевателя». Хотя никаких детей, тем более, завоевателей, у Омара Хайяма нет и теперь уж, пожалуй, не будет.

Мальчик, как положено слуге, пошел проводить его к выходу.

Омар заскрипел ступеньками лестницы. Хамид обернулся у двери, – Газали беззвучно ахнул и откинулся на подушки. Огромные черные глаза с крылатыми бровями. Слуга тут же потупил их. Будто ласточка мелькнула. Богослов не успел уловить их выражение. Морозная дрожь прошла по его костлявому телу...

– Удобно ли вы устроились? – Голос задумчивый, нежный, замирающий на последних звуках как будто где-то вдали...

И вновь – огромные черные очи. Поэты называют их агатовыми. Газали видел такие на миниатюрах. И с презрением отворачивался от них. Художники лгут. Чтобы приукрасить эту мерзкую жизнь. Таких глаз не бывает у живых земных женщин, этих гнусных тварей. Они возможны только у райских гурий.

Откуда же они у этого мальчишки? Газали охватило смутное беспокойство. Их выражение? Ожидание. Искательность и готовность. Которую он, настроенный на назидательную беседу, истолковал как готовность внимать слову божью.

Из-под тюрбана, как змея из-под белого круглого камня, на румяную гладкую щеку вылезла прядь вьющихся черных волос. Личико – худенькое, совсем еще детское. Детский носик. И рот – пухлый, детский, наивный. Лишь темная поросль на верхней губе да странное подрагивание придавали этим невинно-алым губам некую, чуть уловимую, порочность...

Мальчик принес из передней скатерть, развернул, расстелил ее. Газали, озадаченный, следил за его проворными руками, за тонкими ловкими пальцами, которые за любой предмет брались с особым значением, как за вещь, тайно ему известную.

Но больше всего смущал богослова вихляющий зад: сам мальчишка тонкий, легкий, а зад у него совсем не мальчишеский. И он, наклоняясь, опускаясь на колено или вставая и

разгибаясь, как нарочно выставляет его самым бесстыдным образом.

Тьфу! Непотребство.

Хамид принес стопку румяных лепешек, кувшин с молоком и глубокую миску со сливками. Затем поставил на скатерть большое медное, вычищенное до блеска блюдо с ранними плодами. Блюдо до ободка выстлано крупной спелой черешней, а в середине, горкой, желтые абрикосы. Хорошо смотрится – темно-красное с желтым. Как рубин с янтарем...

Появился еще кувшин – высокий, с узким горлышком...

– Прошу, – мальчик сделал предлагающий жест, и опять движение его рук – от себя и в стороны – показалось шейху двусмысленным.

– Просим, просим отведать, – сказал Омар, заглядывая в дверь. – Вот незадача, – вздохнул он огорченно. – Оказалось, уксус весь вышел. И укроп с петрушкой увяли. Простите его, он слуга еще молодой и неопытный, к порядку еще не привык. Придется мне самому сходить на Зеленый базар, тут близко. А вы беседуйте...

– Я уксус в пищу не употребляю, – капризно сказал Газали. – От него у меня сердцебиение.

– Зато мы с Хамидом без уксуса, перца, чеснока и лука, и без разной острой и кислой травы жить не можем. Сердцебиение у нас происходит от постного и пресного. Беседуйте! Учите его уму-разуму.

Он взял корзину, ушел, хлопнув калиткой. Хамид, поджав стройные ноги, скромно опустился на подстилку по ту сторону скатерти, напротив Газали, готовый вскочить по первому его желанию.

– Итак, ты стремишься к богу? – Газали разломил лепешку.

– Всей душой. – Хамид взял узкогорлый кувшин, налил в чашу темный прозрачный напиток. – Шербет. Хотите?

– Потом, потом.

– Я выпью. – Он выпил. Глаза его увлажнились. В их глубине, постепенно разгораясь, засветился лукавый огонек.

– Бог – это свет, – произнес шейх торжественно. – Человек телесный пред ним – ничто. Ибо видимый мир пуст и призрачен, он лишь отображение небесного или, иначе, отражение свойств и качеств божественного абсолюта.

Хамид с недоумением хлопнул себя по бедрам, как бы не веря в их призрачность...

– Зато душа человека, – преподавал шейх слуге основы суфизма, – есть эманация, то есть истечение божественного духа.

– Словом, бог – это свечка, а душа человека – луч этой свечки?

– Свечка! – возмутился Газали. – Бог – исполинский источник яркого света искрящейся белизны! И душа человека, будучи отделена от своего источника, страдает и стремится вновь соединиться с ним. Конечная цель души – вновь слиться с богом, достичь с ним нераздельности.

Богослов со вздохом макнул кусок лепешки в миску со сливками. Но есть не стал, положил на поднос. Хамид, между тем, запихивал в рот сразу по половине лепешки, горстями ел черешню, небрежно выплевывая косточки на скатерть, не забывая подлить себе в чашу из подозрительного кувшина.

– Ешь, как зверь, – строго заметил шейх. – Одно из главнейших условий приближения к богу – скромность в еде. Ибо голод есть пища аллаха. Он, обостряя внутреннее зрение, открывает человеку звезды и через них – путь к небу.

– Это верно, – согласился Хамид с полным ртом. – Помню, иной раз, когда не ешь по три дня, идешь по улице еле живой, и вдруг в голове замелькают звезды... Если нет под рукой дерева, чтобы ухватиться, или ограды, то упадешь в канаву. Канавы и есть путь к богу?

– Не смей! – одернул его богослов. – Путь к богу долог, сложен и труден.

– Отдохнем, коли так? – предложил Хамид. Его разморило от шербета, и он, не стесняясь, растянулся на подстилке.

Газали сердито отвел глаза от его широких бедер.

Во дворе послышалась легкая возня, звякнул половник, зашипели сало и мясо в уже раскаленном котле. Омар, видно, вернулся с базара.

– Ох, как пахнет! – облизнулся Хамид. – Люблю мясо. Мой хозяин мастер жарить его. Пальчики оближешь. – Он, опираясь о локоть правой руки, быстро-быстро зашевелил пальцами левой, будто собираясь пощекотать шейха, и поцеловал их.

– Тебе придется отказаться от мяса, – сурово сказал богослов. – Если ты вправду намерен идти к богу нашим путем. И от мяса, и от шербета, – а то, я вижу, ты от него дуреешь. Ты испорченный мальчик, – сокрушенно вздохнул Газали. – В тебе, я чувю, так и кипят низкие страсти. От тебя исходит грех...

– Это моя эманация, – хихикнул слуга. Его нежное лицо разрумянилось, в черных волосах на верхней губе заблестели капельки пота.

Он действовал на шейха раздражающе, но наставник должен быть терпелив. Газали, не глядя на мальчика, упрямо бубнил:

– Прежде всего ты должен пройти «шариат» – первую стадию приближения к богу. То есть безусловно соблюдать во всех мелочах мусульманское законодательство. Затем «тарикат» – вступление на путь суфийства. На этой ступени следует полностью отказаться от себя, от воли своей. Мюрид должен быть в руках шейха, как труп в руках обмывателя мертвых.

– Извольте! – Слуга с готовностью приподнялся. – Я всегда послушен. Спросите у моего хозяина. Но трупом быть я не хочу, – что может чувствовать труп?

– Никаких чувств! Только совсем отказавшись от них, ты перейдешь на третью ступень – «марифат», то есть дойдешь до познания божественной истины. На третьей ступени суфий, презрев все мирское, изнурением плоти, отшельничеством и постоянным произнесением имени бога, в экстазе постигает его, как бы опьяняясь и соединяясь с ним.

– А я, как выпью, в экстазе льну к Омару...

– Не о вине речь, блудник! И не о прочих мерзостях. Имеется в виду духовное опьянение.

– Блажь, одним словом. Одурь. Как от хашиша.

– Не одурь, а правда! На третьей ступени мюрид поднимается над жизнью, он равнодушен к добру и злу. Для него становится равным нравственное и безнравственное.

– Для меня это давно уже все равно, – заметил Хамид с самым невинным видом.

– На темном пути греха! Но не на светлом пути высшей истины. Достичь которой суфий способен лишь на четвертой, последней ступени, именуемой «хакикат».

Хамид отшатнулся, ибо аскет вдруг вскинул к небу ладони и бороду и вскричал хриплым, надрывисто-рыдающим голосом, как на дервишских радениях – зикрах:

– Фана фи-лла! На которой – о-о! – все земное в нем угасает, он совершенно – о-о! – отрекается от себя, он теряет свое «я» и – о-о-о! – блаженно сливается с богом...

– То есть, как говорят мясники на базаре, «откидывает хвост и копыта», – ехидно заметил слуга.

Проповедник сник. По бороде струились слезы. Хамид смотрел на него с брезгливым испугом. Какая страсть! Как будто о женщине речь. И трепетном слиянии, физическом. Но нет, это холодная, мертвая страсть. Бескровная и бесплотная. Извращенно-духовная. Свет от гнилушки. Самоубийство. В угоду тому, как говорит Хайям, «чего нет – и быть не может».

– А дальше что?

– Дальше? – Аскет, сам уже готовый «слиться с богом», с трудом очнулся от нирваны. – Блеск и радость. Рай. Где текут реки с водой, не имеющей смрада, и молоком, которое не прокисает, и вином, приятным для пьющих, и медом очищенным. Вошедший в сад эдемский нарядился в шелка, в запястья золотые и жемчужные.

Он вытер глаза и губы, будто уже одним глазом заглянул в «сад эдемский» и отведал вина, «приятного для пьющих».

– И только? – удивился Хамид. – Зачем же так далеко ходить? Все это есть и на земле.

Для пьющих приятно вино, которое здесь, под рукой, а не где-то в небесных харчевнях, – щелкнул он по сосуду с шербетом. – Вот молоко, чистое, свежее, – всю ночь охлаждалось в ручье. Это вода из горных ключей, ее принес водонос. Хочешь меду? Наложу полную миску, – у нас его целый хум. И запястья есть у меня золотые. – Хамид отвернул широкий рукав, показал...

– Зато праведник там пребывает в объятиях гурий, – вздохнул проповедник мечтательно.

– Разве тут мало гурий? – возразил слуга. – Я знаю одну... – Он закинул руки за голову, томно вытянув ноги. – Куда до нее райским девам...

– Здесь все кратковременно, там вечно.

– Так долго? Бабка моя прожила сто лет. Противно было смотреть на нее.

– Там – вечная молодость.

– Вечно – скучно. Ведь грех тем и соблазнителен, что длится краткий миг. И сей миг – неотложен! Говорит мой хозяин:

Нам с гуриями рай сулят на свете том
И чаши, полные пурпуровым вином.
Красавиц и вина бежать на свете этом
Разумно ль, если к ним мы все равно придем?

Проповедник – злобно:

– Твой хозяин – безбожник! Никогда он в рай не попадет. В аду ему гореть.

– Что ж! Куда господин, туда и слуга. Гореть будем вместе. Но:

Ты не верь измышленьям непьющих тихонь,
Будто пьяниц в аду ожидает огонь.
Если место в аду для влюбленных и пьяных –
Рай окажется завтра пустым, как ладонь!

– Ты развращен до мозга костей, – мрачно сказал проповедник. И мрачный дух подвижничества охватил его ледяную душу. Он ожидал увидеть здесь робкого безвольного мальчишку, который, разинув рот, будет внимать наставлениям, но встретил строптивого и остроумного прощелыгу, и его веселое сопротивление вызвало в шейхе яростную настойчивость. Он погасит в нечестивце огонь кипящих страстей, заморозит горячую кровь! Аллах воздаст ему на том свете за подвиг. – Все равно я тобой овладею! – брызнул шейх слюной. – Я тебя выведу к свету...

– Владей! Хватит болтать. Но зачем же – при свете? Лучше ставни закрой. Ох, жарко! – Хамид расстегнул куртку на груди, – и перед обомлевшим шейхом открылась нежная ложбина, по сторонам которой угадывались подозрительные выпуклости...

Что за наваждение? У аскета закружилась голова. Он ничего не понимал. Это ифрит, злой дух.

– Эй, мусульмане! – окликнул их Омар со двора. – Время полуденной молитвы.

Шейх испуганно заторопился:

– Я пойду совершу омовение. И тебе бы надо, – буркнул он с отвращением, скосив неприязненный взгляд на толстый зад слуги.

– Обязательно! – звонко воскликнул Хамид. – Может, вместе пойдем? – предложил он игриво. – Я полью, помою...

– Будь проклят, шайтан.

Пока задумчивый Абу-Хамид готовился к ритуалу, беспечный Хамид, хихикая, что-то рассказывал Омару Хайяму, хлопотавшему у котла в летней кухне.

Тот, сдержанно посмеиваясь, что-то мычал, довольный.

– Бисмилла! – Носильщики паланкина, которых Омар оставил во дворе ждать

почтенного шейха, расстелив на земле поясные платки, принялись за хуфтан – полуденную молитву.

Омар не молился. Шейх и мальчик вернулись в жилье.

– Где тут каба? – спросил Газали, стараясь определить сторону, в которой находилась Кааба, храм в Мекке, куда мусульманину следует обращаться с молитвой.

– Кааба? – сказал Хамид. – Я знаю, где она. Стена с окном – на севере; с нишами, выходит, на юге. Молись в юго-западный угол, там и есть Кааба...

– Становись рядом, – приказал богослов.

Они чинно встали рядом и, прочитав вступительные строки молитвы, упали на колени.

Когда настало время биться лбом о землю, Газали, снедаемый неясной тревогой, скосил глаза на слугу, на его немыслимый зад. Руки у шейха заныли и затряслись. Мальчишка, тоже скосив на Газали свои грешные лукавые глаза, ехидно хихикал.

Видно, ему надоело все это, он встал, прекратил молитву. И Газали ощутил с леденящей жутью, как Хамид греховно прикоснулся к его тощему задку босой ногой. Этаким легким пиночек...

– Нечестивец! – возопил Газали. – В аду тебе гореть! Ты нарушил мою молитву.

Поднимаясь, он увидел, – только теперь; давеча, находясь в растерянности, не заметил, – что в углу, на который он молился, висит, раскорячив руки и ноги, индийская медная идолица...

– Молись на меня, хилый дурень! – Слуга сорвал тюрбан, и на плечи его черной тучей упали кудрявые волосы. Кушак полетел в одну сторону, куртка – в другую, и перед помертвевшим святошей предстало почти нагое девичье тело...

Хамида схватила в нише бубен, застучала в тугую кожу, звеня погремками, и пустилась в греховный пляс. Она плясала, мелко дрожа, в такт дробному стуку бубна ладным смуглым животом, вздергивая крутые бедра и ритмично вертя задом.

Груди ее, в лад всему, трепетали, точно янтарные крупные груши на ветке, дрожащей от ветра. Штаны, приспущенные почти до паха, казалось вот-вот спадут. Но не спадали...

Это ужасно! Газали, бессильно рухнув на подстилку, глядел на танцовщицу безумными глазами. В нем проснулось что-то забытое, властное. Он скорчился, плотно сдвинул колени, со стоном выпнулся – и потерял сознание.

– Омар! – закричала Хамида в испуге. – Сомлел твой святой.

– Как сомлел? – прибежал на ее зов встревоженный Омар.

– Ну, познал высшую истину. Слился с богом. Хвост откинул, – уточнила она по-простецки, что и выдавало род ее занятий.

– Ты что? Не дай бог. Только этого нам не хватало! – Омар плеснул в лицо шейху холодной воды. У того дрогнули веки. – Нет, еще не слился. Но уже готовенький. Бишкен, как говорят братья-тюрки. Поспел...

Отрешенно, уныло сел Газали, приподнявшись с помощью Омара. Он был еще где-то по ту сторону добра и зла. Хамида надела куртку, но не запахнула, и пуп ее глядел на шейха коварным глазом.

– И это – мужчина? – Она залилась сочным здоровым смехом. – Глиста! Фитиль сухой. Райских дев ему подавай. Что ты можешь, бледная немочь? Ты предстанешь там дохлой тенью. Омар Хайям на десять лет старше тебя и на тридцать – старше меня, но я его ни на какого молодца не променяю. Вот кто для женщины – бог! А не кто-то за облаками, бесплотный, незримый...

Газали – Омару, замогильным голосом:

– Да накажет тебя аллах! Ты оскорбил мои религиозные чувства. Мои убеждения достойны уважения.

– «Убеждения – уважения», – вздохнул Омар. – Прости. Оскорблять чьи-то религиозные чувства, конечно, не следует. Раз уж это для вас так серьезно. Но уважать их? Уволь. Не очень-то вы уважаете наши убеждения. Я на себе испытал...

Он позвал носильщиков:

– Эй! Почтенный шейх духовно упился вином и любовью, его развезло. Доставьте, друзья, в медrese. Вот золотой.

– В баню отнесите пачкуна, – усмехнулась девица.

Их пути разошлись – навсегда. Еще только раз увидит Омар беднягу Газали, но уже в ином образе...

Посрамленный аскет удалился, Хамида осталась с вертопрахом.

– Не очень ли круто мы с ним обошлись? – усомнился Омар.

– Э! Плюнь, – беспечно сказала она. – Разве лучше они обходятся с нами, все эти имамы, улемы, ишаны и шейхи? Мы их не жжем на кострах, не забиваем камнями. А надо бы! Ведь это – убийца, не уступающий кровавым султанам и ханам. По его учению выходит, что мусульмане, а их – миллионы, должны забросить все дела и заботы, расплзтись по темным углам, не есть, не пить, смиренно сидеть – и, молясь, смерти ждать. Тьфу! Мы проучили его по заслугам.

– Да, – согласился Омар неохотно. – Крайность на крайность. Но все же...

– Брось! Ты мой «ширехват», «перехват», «в-ме-ру-хват» и «ох-и-хват», – со смехом прильнула она к нему, переиначив на свой лад ступени приближения к богу.

Они много смеялись в тот день. Пили вино. Ели мясо, – с мягким хлебом, с уксусом, перцем, луком и чесноком, и пряной травой. Жарко обнимались, целовались. И сочиняли вместе стихи о ханже:

Доколе предавать хуле нас будешь, скверный,
За то, что жизни на земле мы служим верно?
Нас радует любовь – и с ней вино, ты ж влез,
Как в саван, в бред заупокойно-лицемерный...

На базаре – снова:

– Слыхали? Убит окружной правитель, эмир-сепакдар Аргуш...

Пораженные:

– Кем?

С оглядкой:

– Теми... из Аламута.

Со вздохом:

– Ну, времена!

С опаской:

– То ли еще будет. Злорадно:

– Так ему и надо.

В этом году, кроме Аргуша, исмаилитами были убиты эмиры Анар и Бурсак, а также Абу-муслим, градоначальник Рея...

Страшный век в Иране.

Пролетел и канул в холодную вечность и этот год. И другой. Омару уже сорок девять...

Увы, не много дней нам здесь побыть дано,
Прожить их без любви и без вина – грешно,
Не стоит размышлять, мир этот стар иль молод:
Коль суждено уйти – не все ли нам равно?

Черной осенней ночью, когда с окоченевших деревьев с шумом сыпалась от ветра жухлая листва, чтобы покрыть к утру весь город толстой шуршащей шкурой, и городская стража грелась у жаровен в караульных помещениях, не торопясь выйти наружу, на стылый воздух, верный Басар разбудил хозяина тихим рычанием в ухо.

Он никогда не поднимал шума прежде времени.

Пес сделал движение к выходу, выжидательно обернулся. Хм. Кого занесло к Омару этой темной гиблой ночью?

Он зажег от жаровни свечу, поставил ее на столик, кинул тулуп, взял суковатую палку. Будто, с больной своей рукой, мог кого-то избить. Но все же с дубиной больше уверенности.

– Кто? – тихо спросил Омар сквозь глазок в калитке. Он тоже не любил шуметь прежде времени.

Взволнованный шепот:

– Самарканд. В саду Абу-Тахира. Ты купил у беглого руса «Атараксию»...

– Светозар? – вскрикнул сдавленно Омар Хайям.

– Я. Открой.

– Ты один?

– Один...

Давно это было, но Омар отчетливо помнил их первую встречу.

Базар. Молодой ученый, невероятно устав от своего «Трактата о доказательствах задач алгебры и альмукабалы», над которым работал по заказу судьи Абу-Тахира Алака, сходил в баню, где ему, после купания, веселый цирюльник дал чашу вина.

Затем Омар пошел поглядеть на гостей из Хорезма. Покрутившись в толпе знатных покупателей, он решил отправиться домой.

– Не спеши, дорогой, – услышал он за плечами. Омара остановил большой человек в мохнатой бараньей шапке, – ученый только что видел его среди хорезмийцев. Но говорит больше человек на тюркском языке. И лицо – смугло-румяное, с крепкими скулами, тюркское. Борода и брови черные. Но глаза! Омар никогда не встречал таких ярких синих глаз! Кроме как у Занге-Сахро.

– Не скажешь, где тут можно глотнуть? – спросил приезжий. – Давеча пахнуло от тебя, ты близко стоял, – ну, думаю, он должен знать.

– В бане...

Тогда он выдавал себя за болгарина с Волги, состоящего в наемной охране при хорезмийских купцах. Но при второй их встрече, в саду Абу-Тахира, где корчевал старые пни, приезжий признался, что зовут его Светозаром, по-христиански – Феодулом, что он бежал из Киева после неудачного восстания. Омар купил у него книгу с изложением Эпикурова учения.

В третий раз они виделись, когда Омар уезжал в Бухару...

И вот – новая встреча. Что она сулит? Басар сразу признал ночного пришельца за своего. Даже ворчать перестал. Наверно, собака способна распознавать, что у человека внутри, на душе. Светозар, по-прежнему громоздкий, сбросил грубый кафтан, снял драную обувь и сел на подстилку, потирая руки и радуясь теплу.

Руки и плечи у него были, как и раньше, могучими, но борода и волосы побелели. И глаза, когда-то ярко-синие, выцвели, будто слиняли. Или, может, при слабом свете свечи они кажутся тусклыми? Омар, чтобы лучше видеть, зажег еще несколько свечей. Да, не только волосы выцветают от невзгод. Глаза – тоже. И щеки. Весь человек от нужды линяет...

– Никто не скажет, почему у тебя ночью горит огонь? – спросил Светозар с тревогой.

– Не скажет. Я тут у них на особом счету. Могу в полночь затеять веселый пир. Или драку. Уж как придется.

Он принес на подносе хлеба, холодного мяса с вареной репой и морковью.

– Вина?

– Ради бога – немного. Не хочу терять головы. Нельзя. Ох, хорошо! Тепло. Долго плутал в закоулках, замерз.

– Как же ты меня нашел?

– Э, не спрашивай! Довели, показали...

– И как ты попал в Нишапур?

– Расскажу. Никто не услышит?

– Кроме Басара. Но он – не выдаст.

– Вижу. Свой парень.

Это все тот же Светозар, приветливый, добрый – и какой-то чужой, непонятный. Ну, ясно, – сколько лет прошло с тех пор. Разве сам Омар все такой же, каким он был в те времена?

– Я закурю?

– Кури, – удивленно сказал Омар. – Я этого дыма не выношу, но ничего. Приоткрою ставень.

– Не надо! – вскинулся Светозар-Феодул. – А вдруг кто услышит нас, подкрадется к окну?

– Кто услышит? – усмехнулся поэт. – Вон шум какой от летящей листвы. И у нас есть Басар. Иди, друг, погуляй во дворе.

Басар с готовностью вышел. Сам дверь открыл – и закрыл ее лапой...

Светозар достал из своей переметной сумы трубку и маленький тыквенный сосуд с хашишем. Кашель. Дым – особый, приторно-сладкий и горький. Проклятое зелье! Вино по сравнению с ним – молоко. Оно полезно, если пить его в меру. Так же, впрочем, как и молоко. И даже – вода. Во всем нужна мера. К сожалению, мы не всегда ее соблюдаем. Но разве жизнь-то сама соблюдает ее? Нет нигде равновесия. Весь мир состоит из крайностей. Одурачивающий зной долин – и ледяная стужа горных хребтов. Пустыня, где годами не бывает дождей, – и тропический ливень, вызывающий сокрушительные наводнения. Баснословная роскошь у одних – и нищета у других. Ходячий мертвец Газали – и жизнерадостный Хайям. Разве это не крайности?

Но все же лучше всего – свежий воздух. Омар откинул задвижку, приоткрыл резной толстый ставень. Уже которую тысячу лет люди дурманят себя этой пакостью! Она и есть та самая «хаома», которой поклонялись древние арии.

Хаома – хаос...

– После того, как ты уехал в Бухару, – приступил, откашлявшись, рус к рассказу, – я так и жил в Самарканде. У судьи Абу-Тахира дворником был. Вместо Али Джафара.

– Куда же девался Али Джафар? – вспомнил Омар с теплотой старого друга.

– Он дворецким стал вместо Юнуса. Затем, накопив денег, купил дом и небольшой надел. Словом, вернулся к земледелию. Абу-Тахир назначил дворецким меня. Мы с ним ладили. Но когда твой покровитель Меликшах пришел громить Самарканд, мы с хозяином рассорились. Он был сторонником Сельджукидов: «Меликшах, мол, законный государь, раз уж Караханиды перед тем подчинились ему». Но народ самаркандский думал иначе. От своих царей натерпелись, тут еще чужому кланяться. И дары ему неси. Взбунтовались. Я, конечно, был с ними. Нас возглавил хан Ахмед. Ну, как тебе, конечно, известно, Меликшах нас одолел. Захватил много наших в плен, даже Караханидского хана. Ахмеда он отпустил, жизнь ему даровал, как родичу своей любимой жены Туркан-Хатун, а нас, десятки тысяч, угнал в Хорасан...

Светозар согрелся, повеселел – и от тепла, и от хашиша. Он почувствовал себя увереннее; говорил он, правда, все так же тихо, но уже без страха, основательнее, веселее:

– Я достался сепакдару Абуль-Фатху Дехестани. Он теперь визирем у султана Баркьярука. Ну, брат! – Светозар стиснул огромный кулак. – Много всякого лиха я с детства хватил, но таких измывательств... поношений таких видеть еще не случалось. Это зверь. Бешеный зверь. Сумасшедший...

За окном шумел черный ветер. Именно – черный; утром он розовый, днем голубой, золотистый или серый, смотря по погоде. Ночью – черный, иначе не скажешь. Ветер тоже имеет цвет. Но не всякий это видит.

Вкрадчиво шуршала сухая листва на террасе, будто подбираясь к окну, чтобы подслушать, о чем говорят. Ветер трепал на свечах язычки пламени, по лицам и стенам скользили зыбкие тени, и Омар казался себе заговорщиком, обсуждающим с напарником темное дело...

– Твой хозяин сейчас в Нишапуре, – сказал Омар. – Проездом в Мерв. Зачем-то едет к Санджару. Ты с ним? – догадался поэт.

– Дразги у них в Исфахане! Перессорились братья-султаны. Вот и гоняют визирей туда и сюда. Но теперь он мне не хозяин. Я уже три года, как убежал от него. Бродягой стал. Ну, что за судьба! Как в детстве забрали меня печенег, так нигде не найду приюта. Гонит, как ветром лист сухой...

Омар тут же сложил ему стихи:

Водой небытия зародыш мой впоен,
Огнем страдания мой мрачный дух зажжен;
Как ветер, я несусь из края в край вселенной
И горсточкой земли окончу жизни сон.

– Иль горсточкой пепла, – вздохнул Светозар. – Пропала жизнь! Пропала... – Он уронил голову на колени, волосы упали ему на лоб. Левое ухо открылось, и Омар увидел на мочке четкий разрез.

– Что это с ухом твоим? – В нем, как смутное воспоминание о чем-то недобром, шевельнулось подозрение...

– А! – махнул рукой Светозар. – Ведь рабам вдевают в ухо серьгу с именем господина. Вденут – и запаяют, чтобы снять не мог. Я, когда убежал от хозяина, первым делом выдрал серьгу, уха не пожалел.

– Мм...

– Давай, друг, спать. На рассвете уйду. А ты никому на земле, даже под пыткой, что я у тебя ночевал. Пес не выдаст, а другим не следует знать. Суму я оставляю, ты ее сожги. Никому не показывай. Слышал небось, что бывает за укрывательство беглых рабов?

– Слышал.

– Вот и помалкивай. – Рус отстегнул от пояса и сунул под голову огромный кинжал в черных ножнах.

– С кинжалом ходишь?

– Без кинжала бродяге нельзя...

На сей раз Омар проснулся поздно. То есть, когда утро было уже в разгаре. Светозара нет. А сума его здесь...

Работать сегодня поэт не сможет. Эх, носит вас! Омар с досадой бросил перо. Беспокойство гнало его на улицу.

Сегодня что-то должно случиться...

Он быстро собрался и, оставив дом на Басара, двинулся в главную часть города.

На улицах – пыль, мерный шорох. Дворники с шарканьем сметают мусор в кучи и жгут. Весь город окутан едким, как от хашиша, дымом от палых листьев. Иные из которых – красные, будто их обрызгало кровью.

Да, это другой Светозар. Хашиш. Кинжал. В речах – недосказанность...

Если он сам выдрал из уха рабскую серьгу, то рана получилась бы рваной. У него же ясный разрез. Ухо ему рассекли. Где? И – зачем? Почему просто не распилили серьгу или не перекусили кусачками? Дело темное.

Тревога торопила Омара к соборной мечети, где, как узнал он вчера, должен был состояться утренний молебен по случаю благополучного отбытия визира Аль-Фатха в далекий путь.

Омар немного опоздал. Народ уже выходил из мечети. Люди толпились по обе стороны от портала, тихо переговариваясь.

Поэт увидел Светозара. Его, огромного, нетрудно было заметить в низкорослой толпе. Рус напряженно поглядывал по сторонам. Омар двинулся было к нему, чтобы спасти, удержать от чего-то страшного, но Светозар отшел от него темным жестоким взглядом.

Омар отступил. Его лихорадило от волнения, ни о чем он не мог думать в эту минуту.

Появился, в сопровождении местной знати и духовных лиц, визирь Дехестани. Человек видный, нарядный, но строгий. Говорят, свой Дехестан, – это по Горгану, где Баге-Санг, – визирь превратил в подобие скотобойни. Где всегда льется кровь и пахнет кровью...

– О великий, славный, блистательный! – заканючили нищие, калеки во вшивых отрепьях, отделившие двумя рядами толпу с двух сторон от прохода.

Звенели монеты, рассыпаясь на каменных плитах. Красивый, с белым лицом и смолисто-черной бородой, Аль-Фатх небрежно, даже не глядя, осыпал юродивых медяками, доставая их из сумки в левой руке.

Вид – скучающий. Такой бывает у людей, пресыщенных силой и властью. Для которых подобострастие окружающих – нечто привычное, само собой разумеющееся. Он в толпе, но всякому ясно, что к ней он не принадлежит. Человек из другого мира. Хочет – казнит, хочет – милует.

Все остальное – только приложение к нему...

– О великий, славный, блистательный! – один из нищих, самый угодливый, кинулся, в припадке подобострастия, с той стороны прохода, ему под ноги, дабы облобызать его божественную стопу...

Но сделал он это так неловко, что чуть не сбил вельможу с ног. Визирь отступил, пошатнулся, повернулся, взмахнув руками вокруг себя, – и Омар увидел правую часть его лица: кривую, корявую, с глубоким старым шрамом через вытекший глаз и скулу под ухо.

Его поддержали под руки. Сановник вновь обрел устойчивость – и, разгневанный, ударил нищего ногой в лицо. Брызнула кровь. Дервиш завопил, испуская пену и дрыгая ногами:

– А-ах... аллах!

Стража схватила бродягу, оттащить его прочь. Произошло замешательство. Визирь повернулся спиной к этой стороне толпы...

И тогда, всех раскидав, как буйвол, к визирю ринулся Светозар. Блеснул огромный кинжал. Скрежуще звякнула кольчуга. Светозар пропорол ее одним ударом – и по самую рукоять всадил дехестанцу кинжал под левую лопатку.

– Исмаилит! – с воплем раздвинулась толпа. Людей охватил ужас. Только что все было чинно, благопристойно, и вдруг – такое событие. Один из пожилых зевак, тихо вскрикнув, упал без чувств. Нет, никогда человек не привыкнет к виду смерти. Вернее, не сможет с ним примириться, – привыкнуть, положим, сможет. Ибо нет в этом мире, веселом и ярком, пусть беспокойном, ничего нелепее смерти. Нормальна жизнь, смерть – ненормальна...

Убийцу тут же скрутили. Он, впрочем, и не собирался бежать. Или сопротивляться. Стоял и терпеливо ждал, что будут с ним делать.

... Зато нищий, с которого все началось, незаметно исчез.

Через несколько дней он придет в Аламут и сообщит «шейху горы», что «голяме-руси», то есть русский раб, сделал свое дело. По этому случаю состоится семидневное празднество. Будь у Светозара мать, она бы плясала от радости у костра: сын погиб, зато исполнил свой долг, – она бы в горе рвала себе волосы, если б дитя ее вернулось живым, но не справилось с заданием.

Но Светозар с трех лет не знал матери...

И стоял он теперь, одинокий, на главной площади чужого города, далеко от родного Днепра, и бог весть о чем думал.

Хашишинов казнят на месте преступления.

Когда его, со связанными за спиной руками, бросили на колени, он обернулся, разыскал глазами Омара и чуть заметно кивнул ему. Хотел будто что-то сказать. Но тут телохранитель убитого визиря взмахнул кривым тюркским мечом. И ничего не успел сказать Светозар... Потрясенный, Омар побрел домой.

«Эх, Пейдул!.. – Так выговаривал он «Феодул», христианское имя беглого руса. – Тебе-то зачем нужно было лезть в дела людей, которые сами никак меж собой не разберутся?»

Вернувшись к себе, он широко распахнул окно и дверь. Лучше всего – свежий воздух! В глаза ему бросилась сумка убийцы.

Раскрыл – в ней нет ничего. Кроме трубки да маленького тыквенного сосуда. Омар испугался. Господь сохрани и помилуй! Он быстро разжег очаг, бросил в огонь шерстяную сумку, сломал и швырнул туда же и трубку, вытряхнул из табакерки темно-зеленые комочки хашиша...

Гори, скверное зелье! Догоняй в небесах ядовитым дымом своим душу бедняги Светозара и, обвившись с нею, лети в исмаилитский рай.

Табакерку он оставил себе – на память о несчастном славянине. Затем он спрятал рукопись «Книги печали» и записи к ней. Зарыл в землю в кувшине...

И только Омар, спеша от страха, проделал все это, как снаружи, на улице, загремели копыта и кто-то застучал в калитку громко и беспощадно...

Часть вторая. НОВОЕ УЧЕНИЕ НА СТАРЫЙ ЛАД

Вы говорите мне: «За гробом ты найдешь
Вино и сладкий мед. И нежных гурий». Что ж,
Тем лучше! Но сейчас мне кубок поднесите:
Дороже тысячи в кредит – наличный грош...

... Он думал, что больше уже никогда не попадет в проклятый Исфahan! Но вновь перед ним – та же дорога на запад, в Рей, и оттуда, через Кум, на юг.

Зачем он нужен Мохамеду?..

Битва между султанами, как всегда между кровными братьями, была жестокой до беспощадности, до иступленной резни. Баркьярук потерпел поражение и уехал в Мекку. Мохамед остался в столице и потребовал к себе Омара Хайяма.

«О боже! Когда вы оставите меня в покое? Ну, меня-то, – ладно, я человек терпеливый. Когда вы оставите в покое эту великую несчастную страну?»

Басар, вновь оказавшийся на степной дороге, – Омар не мог его оставить дома одного, – дико носился по каменным россыпям и придорожным зарослям. Не упуская, однако, из виду хозяина. Которому, поймав в предгорной ложине, принес, похваляясь, зайца.

Дом пришлось заколотить. Омар уплатил квартальному миршабу, начальнику ночной стражи, десять золотых, чтобы тот присматривал за его жильем.

Приехали за ним, как в последний раз, когда Санджар посетил Нишапур, воины-тюрки, но Ораза среди них уже не было...

– Жутко стало жить в Исфahане, – рассказывал тюрк-порученец, передавший Омару повеление Мохамеда прибыть в столицу, – он вместе со старым Оразом гостил в тот раз у поэта и потому знал его. – В городе кишат исмаилиты. Один слепой выходил к вечеру с палкой на улицу и умолял прохожих: «Да помилует бог того, кто возьмет слепого за руку и доведет до двери его дома».

– И что же?

– Улица была узкой и темной, и дом слепого находился в самом ее конце. Когда кто-нибудь приводил его к дому, какие-то люди втаскивали беднягу во двор и кидали в глубокий колодец. Много людей так пропало за несколько месяцев. Как-то раз возле этого дома остановилась нищая старуха. Она услышала стон и произнесла нараспев:

«Дай бог здоровья больному!»

Вышли какие-то люди. Они, видно, подумали, что она все поняла, и хотели втащить ее в дом. Женщина испугалась и убежала. На перекрестке она рассказала: «У такого-то дома я слышала стон, и его обитатели хотели меня схватить».

Собралась толпа. Вошли силой в дом, обыскали все углы и закоулки, обнаружили ход к

сардобе – подземному водоему. И что ты думаешь?..

Омар не раз замечал у людей недалеких: вступая с ним в разговор, они, зная, кто он такой, непременно старались его огоршить: мол, я тоже не прост! Мы с тобой – на равных...

Огорошил и этот:

– Горожане нашли в хранилище для воды человек пятьсот пропавших. Большинство было убито, иных распяли на стене, двое-трое еще умирали. Слух об этом разнесся по городу. Каждый нашел среди жертв знакомого, друга или родственника. Весь Исфahan стонал! Слепого, его жену и помощников сожгли на базаре...

Он победно взглянул на Омара.

– Эта нищенка, – усмехнулся Омар недоверчиво, – шустрая старушенция! Убежать от хашишинов – не всякому это под силу.

– Так говорят, – сказал враждебно сопровождающий.

– Ну, они – наговорят...

– Раз говорят, значит, правда! – Воин смертельно обиделся на Омара – за то, что он, его выслушав, не упал, потрясенный, с лошади. Вот так и вызываешь у людей к себе неприязнь...

– Что ж, допустим. И эти полтысячи трупов несколько месяцев лежали в сардобе целехонькими, не портясь при знаменитой исфahanской жаре? – продолжал безжалостный Омар. – Не отравили воду в колодце? И запах от них не разнесся по всему кварталу? Их по запаху сразу б нашли. Удивительная история...

– Может, ты сам хашишин? – обозлился сопровождающий.

– А как же, – устало вздохнул Омар. – Я правнук «шейха горы». Хотя, «говорят», – подчеркнул он дурацкое слово, – он моложе меня. Лет на пять. Но для таких, как ты, это не имеет значения. Верно?..

Поэт, не выносивший насилия во всех его видах, отнюдь не питал к хашишинам пристрастия. И не был склонен ни выгораживать их, ни чернить перед кем-то. Он хотел достоверно знать, что же они собой представляют, разобраться в причинах их злодеяний.

А слухи – это слухи. Математик не может строить на них логический вывод. Вывод же для себя Омар сделать хотел. Что происходит в этой славной, древней стране с богатейшей историей?

«Я здесь рожден, ел хлеб этой земли, пил ее воду и немало труда вложил в нее, – почему, не спросясь меня, всякие там проходимцы вытворяют на ней, что взбредет в горячую голову?

Сколько бы я ни топорщился, не так уж я безразличен к судьбе этой страны. И шумлю, уж если вникнуть поглубже, разве не ради нее? Родина – мать, да, но если мать, по несчастью, забывает о всяких приличиях, разве грех о них напомнить? Боготворить ее слепо – ей же во вред. У дурных матерей – дурные дети.

Если рушится дом, человек, который в нем живет, должен знать, отчего. Чтобы подставить опорный столб под нужную балку. Ведь балка валится не куда-то, а прямо ему на голову...»

До сих пор ему было все недосуг заняться вплотную сектой Хасана Сабаха. Он понимал, что вызов к султану как-то связан с исмаилитами. И ловил по дороге каждое слово о них.

В том же году исмаилиты зарезали сепаксалара Сарзана, – главного начальника тюрокских войск, и Сакардже – наместника Дехестана...

И – завертелось!

В Гиляне убит умеренный шиитский проповедник Хади Кия Алави.

В Рее убит учетчик поступлений в казну Абу-Амид.

В Казвине – судья Искандер Суфи. Там же – бывший исмаилит Сарлебари Фармати, порвавший с кровавой сектой.

Убит судья Абдаллах Исфакхани...

Не дай бог, скоро весь Иран превратится в колодец, заваленный трупами.

Визирь Сад аль-Мульк Аби рад Омару, как родному. Он, конечно, не суетится, не мечется, – раз приложился плечом к плечу, похлопал по спине и отступил, одобрительно поглядывая и довольно посмеиваясь.

– Нам так не хватало вас! – сказал он поэту в высшей степени дружелюбно, усадив его рядом с собой. – Запутались мы в клубке разных вероучений и множества их течений.

– Я в этих делах человек посторонний. Разве мало у нас ученых богословов? – Он горько усмехнулся. Пока дела у них идут хорошо, знать не хотят Омара Хайяма. Чуть хвост прищемит – бегут к нему...

– Много! Но они – пристрастны. Возьмем, к примеру, барана. Его любимое растение – повилика. Ставь перед ним шашлык, куропаток, фазанов, редкую рыбу – он отвернется от них, недовольный. И, если б мог говорить, отзывался об этих яствах как о чем-то несъедобном и даже – отвратительном. Нет для него ничего вкуснее сочной повилики! О достоинствах тех блюд он судить не в состоянии. Вы же...

– Человек всеядный, – подсказал Омар. – Как свинья и медведь.

– Ну, зачем же так грубо, друг мой! Вы человек беспристрастный. Без предрассудков. Вы способны взглянуть на события как бы сверху, свежими глазами, и найти для них точное объяснение.

– Когда-то это ставилось мне в вину.

– Времена изменились, друг мой.

– Времена! – гневно вскричал Омар. – Время – это что? Эпоха или шлюха, которая каждый час меняет свой наряд и то улыбается человеку, то плюет на него? Я – не изменился. И ничем вам помочь не смогу.

– Пусть учитель простит, если я сказал что-нибудь не так. Ему следует поговорить с государем...

Омар никогда не страдал слезливой чувствительностью, но тут у него увлажнились глаза. Вот за этой дверью, в библиотеке, составлял он новый календарь. В этой келье к нему приставала царица Туркан-Хатун. Было много встреч, не всегда тягостных, иногда и радостных.

Здесь его судили. Тут, у этих дверей, из-за бархатной завесы, сочувственно смотрела на поэта, приговоренного к смерти, дворцовая девчонка Хадиче. Та, что затем умерла от оспы...

Последний раз он был здесь при визире Иззе аль-Мульке, когда обитателей дворца косила эта страшная болезнь. Тогда погиб царевич Махмуд. Баркьярука, Мохамеда и Санджара лекарь-поэт сумел спасти...

Нехорошо на душе. Их шаги тревожно звучали на всю цитадель. Во дворце – пустынно и тихо. Нет обычной возни множества слуг. Не слышно нежных песен из гарема. Зато всюду стража в полном снаряжении – на стенах, на лестницах и в переходах, у всех входов и выходов.

Царский дворец, когда-то веселый и шумный, превратился в военный лагерь. На майоликовых плитах уютных внутренних двориков – черные пятна золы с головешками от недавних костров. Узорные решетки галерей припорошены легкой копотью. В мраморных бассейнах – мусор.

– На время военных действий между братьями, – сказал визирь, провожая поэта к султану, – государь велел переправить казну, арсенал, мелких слуг и дворцовых девушек в крепость Шахдиз. Это недалеко, вон в тех горах, – показал визирь на скалистый хребет, примыкающий к городу с юга. – И сейчас они там. Пока еще страсти не улеглись...

Басар в чужом доме осторожно, украдкой шел рядом с хозяином, в любой миг готовый к обороне и нападению. Даже пес понимал: здесь надо держаться с оглядкой.

– Тюркский пес? – спросил визирь Сад аль-Мульк подозрительно. В сочетании этих двух его слов отдаленно угадывалась некая двусмысленность.

Омар – неохотно:

– Степной...

– Псы тюрок служат нам, – вздохнул эмир загадочно, – мы, как псы, служим тюлкам. Хотя, как известно, они сами... Говорит же Хасан Сабах: «Тюрки – не из детей Адамовых».

– Ты что? – остановился Омар. Басар прижался к его ноге. – Опасная откровенность! Проверяешь верность мою Сельджукидам – или склоняешь к измене? Я должен сразу предупредить: в дразги ваши меня не старайтесь втянуть, я далек от них!

– Потому я и откровенен с тобой! – засмеялся визирь благодушно. – Знаю: не пойдешь доносить. (Не поймешь, то ли шутит, то ли всерьез говорит.) Ибо ты глубоко равнодушен к бесконечной нашей возне у престола. Но в этой возне – наша жизнь. Ты же человек раздумий, но не действий.

– Да? – Поэта задело, как точно Сад аль-Мульк определил его суть. Точно? Нет, не совсем. Разве работа ума – не действие? – И слава богу! – с досадой сказал Омар. – Так вернее. А то иные... действуют, не поразмыслив сперва, что из этого выйдет. И выходит – одна слякоть. Осмелели вы тут, – проворчал недовольный гость.

– Говорю, времена изменились! Что ж, будем действовать не без ума.

Опять непонятно, о чьих и каких действиях речь, за кого – и против кого.

Эх, пакость!..

К удивлению Омара, визирь привел его не во дворцовый царский покой, а в сторожку на задворках. Омар в ней бывал! Когда Муaid, сын покойного визиря Низама аль-Мулька, пытался склонить поэта на свою сторону и восстановить его против Изза аль-Мулька.

– Здесь безопасней, – пояснил Сад аль-Мульк, заметив его недоумение.

Под крепостной стеной – ряд войлочных юрт для личной охраны султана. Сторожка лишь с виду невзрачна – внутри она оказалась сооружением основательным, довольно просторным, с прочным сводом, и толстыми стенами.

– Подожди меня здесь, – приказал Омар у входа Басару.

Пес неохотно улегся. Неподалеку, на вытоптанном цветнике с усохшими стеблями растений, в большом котле, врытом в землю, кипело, по запаху – вкусное варево. Что ж, это хорошо. Что-нибудь и нам перепадет...

Визирь и поэт присели на каменной лавке в тесной прихожей. Телохраниль пошел доложить о них султану.

– Я заранее вас извещаю: государь в последнее время часто бывает не в духе, – шепнул Сад аль-Мульк. Он глядел на Омара с тихим весельем, – будто им предстояло увидеть сейчас нечто забавное...

– Учитель! – то ли с ревом, то ли с рыданием ринулся к ним рябой детина в пластинчатом панцире, с бритой непокрытой головой.

Омар в испуге вскочил.

Юный султан, протяжно всхлипнув, упал ему на грудь. И тут же резко – визирю:

– Ступай! Позову.

Коренастый, слишком плотный, дородный для своих лет, Мохамед порывисто втащил Омара внутрь помещения. Махнул толстой рукой на подстилку: «садись», обхватил низкий лоб широкими ладонями. Постоял, оскалив зубы, освещенный скудным светом из узкого окна-бойницы, оторвал ладони от багрово-синего лица.

– Кровь давит на мозг. – Кинулся на подстилку, схватил Омара за руку: – О чем вы говорили с визирем?

Поэт, ошеломленный столь бурной, довольно странной встречей, вежливо осведомился:

– Как здоровье, как успехи его высочества?

– О чем? – взревел юный султан.

Обмер Омар...

– Его светлость визирь Сад аль-Мульк Аби соизволили намекнуть на некие смуты в Исфахане, в которых я, недостойный, смогу разобраться...

– Не верь ему! Я никому из них не верю. – Султан отпустил руку Омара, откинулся к стене, болезненно закрыл глаза. На фоне зеленого сюзане, расшитого цветами, его голова казалась крупной тыквой в листе. – Все лгут, все обливают друг друга грязью, – прошептал он с тоской. И скосил на Омара щелочки глаз, – сквозь них на миг открылась поэту бездна хитрости и вероломства. – Я верю лишь тебе! Потому и вызвал сюда. Ты – самый честный человек в Иране. И ты должен верить только мне, – сказал он неожиданно успокоенно.

И спросил заботливо:

– Тебя накормили?

– Не успели.

– С ними – не ешь! Только со мной. Будь осторожен. Кольчугу надень, такую, как у меня. Я тебе дам. Но это – потом. А сейчас... Эй! – Мохамед хлопнул в ладоши.

Телохранитель, огромный степняк с угрюмым лицом, принес большое блюдо с горячим, с паром, вареным мясом. Положил возле скатерти бурдюк с вином, поставил чаши.

– Пусть учитель простит. – Мохамед откупорил бурдюк. – Приправы никакой. Из воинского котла питаюсь. Одна надежда – на своих туркмен-телохранителей. От персов, не в обиду будь сказано, сплошь неприятности. Могут отравить. Разброд у нас. Зови Сада аль-Мулька! – крикнул он в прихожую. – Все-таки Сад – из них самый порядочный, – сказал государь удивленному поэту. – Верить ему, конечно, не следует, но пользоваться его услугами мы можем. Пока что. Без него пока не обойтись. Он – посредник между мной, турком, и персами. Однако ты к нему приглядывайся...

Омар затаенно вздохнул. Вот так. Жил себе худо-бедно, но тихо и мирно, в своей поэтической хижине, – и вдруг угодил в болото со змеями. Что значит царь! Оторвал человека от кровной, любимой работы – и даже не извинился, не спросил, имеет ли Омар желание служить ему в темных его делах.

Пришел визирь, уселся с ними, ничуть не обиженный давешней грубостью султана. Видно, привычен к подобным выпадам, уже притерпелся к ним. И Омару, похоже, придется к ним привыкать. Алгебра, с ее неумолимой логикой, здесь бесполезна. Здесь иные законы. Вернее, нет никаких. Главный закон – царская прихоть...

Братья-султаны разделили державу отца пополам. Мохамед получил Северо-Западный Иран, Азербайджан, Ирак и Сирию. Баркьяруку досталась восточная часть государства от Фарса до Хорезма. Область «для пропитания» он еще раньше выделил младшему братцу Санджару. Каждый провозглашался султаном в своих владениях. Но верховным правителем продолжал считаться Баркьярук, как самый старший из сыновей Меликшаха...

Все это Омар узнал из дальнейшей беседы. Значит, конники Мохамеда, взяв поэта в Нишапуре и препроводив его в Исфахан, посягнули на чужой удел и на чужого подданного.

«Выходит, я в цене, – усмехнулся с горечью Омар. – Не умер, по счастью, с голоду, вылез – и теперь иду на расхват. Не дай бог, скоро война из-за меня разгорится между царями...»

– Со своими делами мы управились сами, – вздохнул Мохамед. Он много пил, много ел, жадно и неряшливо. Насытившись, отер по степному обычаю жирные руки о брови, усики и сапоги. Лицо приобрело цвет спелой сливы. В любой миг удар его может хватить. – Но тут свалилась на голову нашу другая забота. Эти шииты, батиниты, низариты... хашишины-исмаилиты или как их там, чтоб им усохнуть, этот проклятый Хасан Сабах!

– Да покарает его аллах! – произнес весьма к месту визирь.

– Даже здесь, в Исфахане, от них проходу не стало! Знаешь, до чего дошло? – Мохамед оглянулся на визиря и сделал Омару знак подвинуться к нему поближе. – Разделились по кварталам, сбегаются толпами и похищают людей. Был какой-то слепой. В его доме на циновке сидела женщина, а под циновкой находился колодец, где обнаружили сорок убитых. Если кто не вернулся домой в положенный час, значит, он стал жертвой исмаилитов. Вот что творится у нас...

Но сей негодяй, – султан схватил визиря за курчавую черную бороду, прохваченную,

как инеем, по краям сединой, – твердит, что все это – нелепые слухи!

Почему ты не очистишь город от них? – дернул он визиря за бороду.

Может, ты сам исмаилит? – встряхнул он визиря за бороду.

Может, не зря шейх Шараф уль-ислам Садреддин подозревает тебя в злых умыслах? – терзал он, совсем невменяемый, визиря за бороду.

Телохранитель, огромный степняк с угрюмым лицом, безмолвно сидел тут же, в углу, и бесстрастно наблюдал за происходящим. Будто его тут нет. Но если б визирь шевельнул хоть пальцем в свою защиту, или Омар сдвинулся с места, чтобы ему помочь, тюрок мгновенно поразил бы их кривым мечом, который держал обнаженным на своих коленях...

Султан захрипел, отпустил визиря, упал на подушки. Его сизая бритая голова беспомощно свесилась с тахты.

– Пусть спит, – сказал визирь, все так же добродушно посмеиваясь. – Идемте, друг мой...

– Куда вы, учитель? – очнулся султан и приподнялся на локте. – Не уходите. Вы будете жить здесь, со мной.

«Вот повезло! – восхитился Омар. – Хоть от счастья рыдай. Во весь голос...»

– Если б государь дозволил, я бы пошел покормить свою собаку, – кивнул Омар смиренно на жирные кости на скатерти.

– А! У тебя есть с-собака? – пробормотал султан, вновь роняя голову. – У меня их м-много. Но я им не верю... Не верю! – вскинулся юный правитель и вновь потянулся к бороде визиря. Но проворный придворный успел юркнуть за дверь. – Я верю т-тебе... Ты теперь мой надим – друг, советчик и ох-хранитель. Ты м-мой верный пес...

Омар отшатнулся, вскинул руки к груди, будто желая отбросить тяжелый камень оскорбления. В глазах его смутно белело открытое горло султана.

Оно будто само просилось, чтобы его перегрыз Басар. Телохранитель только и успеет, что оглянуться.

Эх! Если б не «Книга печали»...

Омар, испугавшись себя, подавил искушение, от которого у него самого на душе сделалось мерзко, нашел в прихожей щербатую старую миску: «Можно?» Ополоснул ее водой из кувшина, сложил кости, украдкой добавив кус мяса, – и вынес Басару.

Тот, как всегда, не спеша, с благородным видом, деликатно, подошел к миске и выжидательно взглянул на хозяина.

– Отойдем, – предложил поэт. – Стеснительный пес. Не ест при посторонних...

Визирь задумчиво оглаживал растрепанную бороду. Ему, конечно, было больно, но визирь улыбался.

– Как вы нашли молодого султана? – спросил он с обычным тихим весельем.

– Государь... не совсем здоров, – ответил поэт осторожно. – У него... излишне горячий темперамент. Надо бы делать ему кровопускание.

Визирь долго молчал.

– Это мысль! – согласился он наконец безмятежно. И сказал вдруг отдельно и веско: – Давно пора пустить ему кровь. Не так ли? – вскинул он на Омара честные наивные глаза...

Поэт отступил и застыл, раскрыв рот от изумления. Что происходит в этой несчастной стране? Вышел телохранитель. Кивок назад, через плечо: «Зовет государь».

«О боже! – подумал Омар с тоской. – Напрасно хулят человека, который сторонится людей и не лезет в толпу. Один ты всегда знаешь, чего хочешь и что будешь делать. Но стоит возле тебя оказаться другому человеку, ты уже не свободен в своих поступках и должен подлаживаться к нему – волей или неволей. Он чего-то ждет от тебя. Отчаянно уповая на твои какие-то возможности. Которых, увы, нет и не известно, когда они будут.

Ладно б, если это служило доброму делу. Нет, чаще ты, сам того не желая или даже не зная, способствуешь дурному. Или, хуже того, тебе совершенно ненужному, неинтересному. К которому ты не имеешь никакого касательства. Когда в этой дурацкой стране усвоят такое понятие, как уважение к человеку, к его образу мыслей?»

Омар фыркнул. Это понятие применительно к данной стране ему самому показалось до смешного невероятным.

– Идемте, – позвал он визиря с собой. – Я человек здесь новый, с порядками не знаком, и в случае чего...

Султан не мог поднять головы.

– Худо мне, учитель, – прошептал он еле слышно. – Помогите! Вы – лекарь...

– Государь! – встревожился Омар Хайям. – Вам нужно сейчас же, немедленно, сделать кровопускание.

– Полегчает? – голос у тюрка тоненький, слабый.

– Непременно.

– Делайте...

Визирь, устроившись в сторонке, чтобы не мешать, внимательно следил, как Омар вынимает из своей переметной сумы черный ящик, достает из него толстый шнур, вату, медную чашу, ланцет.

Похоже, он что-то прикидывал в своем хитром уме. Впрочем, кто его знает...

– Заверни его величеству рукав, – приказал Омар телохранителю. – И налей в большой кубок чистого вина... Теперь посторонись, не загораживай окно.

Телохранитель, сделав что требовалось, послушно отступил и замер, судорожно вцепившись в рукоять меча. Он видел кровь. Много крови. И не раз пускал ее сам. Но его кривое острое «приспособление» никому никогда не улучшало здоровья. Хотя и меч и ланцет – из одной и той же хорошо закаленной стали.

Омар протер толстую руку султана ватой с вином, ополоснул в кубке ланцет и сделал надрез. В медную чашу потекла плотной струйкой черная кровь...

Лицо султана постепенно светлело.

– Не слишком ли много? – спросил телохранитель сдавленным голосом.

– Это дурная кровь. Не бойся.

Омар наполнил емкую чашу, отставил ее и перехватил руку султана выше надреза толстым мягким шнуром. Протер ранку ватой с вином. Дело несложное, скучное.

– Пусть подсохнет...

Султан открыл глаза, улыбнулся:

– В голове прояснилось! Хоть сейчас – на коня...

– Нет, государю следует полежать.

– Пить хочу. Можно чашу вина?

– Можно. И нужно.

Султан жадно выпил полную чашу вина, с любовью взглянул на Омара.

– Учитель однажды спас меня от смерти. Когда я оспой болел. И вот – опять. Век не забуду...

– Государь благороден – и благодарен, – подтвердил визирь с неизменным своим тихим весельем.

– Вот ваша хворь, – показал Омар султану медную чашу с быстро загустевшей кровью. – Кровь у вас слишком вязкая. Если государь расположен выслушать мой совет, ему бы следовало не реже одного раза в месяц ее понемногу спускать. Не окажусь я под рукой – с этим делом отлично справится ваш брадобрей.

– Так просто? Учту, – сказал бледный султан.

У визиря на миг сверкнули глаза. Он, похоже, тоже это учел...

Ранка затянулась. Омар снял шнур.

– Ох, хорошо! – вздыхал Мохамед с облегчением. – Сам аллах надоумил меня вызвать вас в Исфахан...

Омар до сих пор не забыл, как обставлен был этот «вызов». Чуть ли не руки ему скрутили.

– Скажите, сколько дармоедов крутится возле меня, – султан исподлобья взглянул на визиря, – но никому из них в голову не пришло облегчить мои страдания. Учитель, я вас

никогда не отпущу от себя. О, если б вы помогли мне избавиться от хвори, именуемой Хасаном Сабахом!

– Он – может, – угодливо сказал визирь. – Он все может! Ибо велик умом и умением.

– О государь! – вздохнул Омар. – Вы ради этого дела оказали мне высокую честь, назвав надимом, то есть личным советчиком, другом и охранителем. Но, как вы понимаете, человек немолодой, да еще с больной рукой, не способен рыскать в трущобах Исфахана, ловить исмаилитов и рубить им головы. Мое оружие, как справедливо изволил заметить ваш верный слуга Сад аль-Мульк, – поклонился он с усмешкой визирю, – мой ум.

– Именно он мне и нужен, ваш ум, – кивнул государь.

– Чтобы давать советы по какому-либо делу, надо это дело знать досконально. Но что я знаю о Хасане Сабахе и его исмаилитах? Ничего, кроме слухов. Известных вам не хуже, чем мне. Даже лучше, ибо вы – в гуще событий.

– Да, слухи, – мрачно кивнул султан. – Пока что слухи. Я до сих пор не видел живого исмаилита, – угрюмо взглянул он на визиря.

– О государь! – вскинул руки придворный. – Дай вам бог никогда их не видеть...

– Может, и нет их в природе? Одна выдумка? Но кто же тогда истребляет моих верных слуг? Совсем недавно здесь, в Исфахане, убили судью Убейда Абдаллаха. Я хотел сам допросить хашишина, но не успел. Сад аль-Мульк расправился с ним на месте.

– Государь должен понять своего вернейшего слугу, – сказал смиренно визирь. – Мое возмущение превысило все дельные соображения, и я не мог удержать руку воина, поразившего убийцу.

– Это я понимаю, – зевнув, потянулся султан. – Пожалуй, и сам не стал бы долго с ним говорить, сразу голову снес. Но в следующий раз, если поймают хашишина, вели привести его ко мне. Я своими руками кожу с него сдеру, – сказал сельджукид гнусаво и протяжно. Лицо его вновь наливалось кровью. – Вы только подумайте! – вскричал он с яростью. – Правитель великой державы сидит, как мышь, в убогой сторожке, боясь ходить по собственному дворцу. Весь мир боится сельджукидов, – одноглазый пройдоха Хасан Сабах не боится.

«Да, нагнал он страху на тебя, – подумал злорадно Омар. – Значит, и на вас есть управа...» Омар невольно настроился, на благожелательный лад к исмаилитам!

– Успокойтесь, государь! Вам нельзя волноваться. Давайте не спеша, обстоятельно обсудим, что делать.

Царь сделал ему мгновенный знак: «Не при нем!» Как он думает уцелеть, если не доверяет даже своему визирю?

– Прежде чем что-либо решить, – продолжал Омар невозмутимо, заметив, что визирь все же уловил этот тайный знак поэту, – мне хотелось бы ознакомиться с учением Хасана Сабаха. У его сторонников в Исфахане должны быть какие-нибудь сочинения «шейха горы». Не удастся ли их найти?

– Найдем! – повеселел Мохамед, увидев впереди некий просвет в темных делах. – Не зря мое тюркское имя – Тапар, что значит «добытчик». Что скажешь? – уставился он на визиря.

Тихое веселье у того сменилось тихим отчаяньем.

– Дело серьезное, трудное, – тихо сказал Сад аль-Мульк. – Но попробуем. А! Постойте-ка! О! – оживился он от внезапного наития. – У хашишина, который убил судью Убейда Абдаллаха, были в суме какие-то книги. Я в них не заглядывал. Может, индийские сказки. А может, и что-нибудь касающееся их проклятого учения, – да уготовит аллах им всем место в аду! Мой дворецкий подобрал эту сумку и принес домой...

– Поезжай, привези, – приказал юный султан. Ему, видно, хотелось остаться вдвоем с Омаром.

– Я пошлю за книгами слугу, – нашелся визирь. Вот ему-то, видно, не хотелось, чтобы они остались вдвоем.

– Ступай! – рявкнул султан. – У него их могут отобрать по дороге. Что творится в

городе, знаешь? Воины ходят гурьбой, боятся в одиночку. Может быть, эти книги – то, что нам нужно. Своими руками возьми, привези, и отдай их поэту Омару Хайяму.

– Слушаю и повинуюсь, – покорился визирь неохотно. Он ушел обиженный. О какой тут преданности речь?..

Султан сказал поэту.

– Пусть учитель при нем помалкивает. Сад, конечно, не сторонник Сабаха, ибо клянет его на каждом шагу. Но мало ли что...

Вот именно. Мало ли что. Омар вспомнил 108-й стих 16-й суры корана, обязывающий по мере надобности скрывать от врагов свои истинные взгляды: «гнев божий – не над теми, кто приневолен, тогда как сердце их твердо».

Но Омар ничего не сказал об этом султану. Горький опыт научил его железному правилу, никогда не опережать событий. Они все равно произойдут – хочешь, не хочешь.

Все делается без нас.

В нашей жизни было столько взлетов и столько падений, новых взлетов и новых падений, что мы уже ко всему притерпелись. Не плачем, когда приходит горе, не смеемся, когда приходит радость. Мы народ подневольный, наше дело – терпеть, смотреть и ждать. И делать выводы. Поэт не соучастник, он свидетель...

– Если книги, которые он привезет, окажутся нам полезными, – произнес задумчиво Омар, – я сразу же ими займусь. Но, государь, я не смогу жить и работать в сторожке, вокруг которой постоянно топчутся кони и люди. Я привык к уединению. Во дворце, при библиотеке, была уютная келья; я когда-то в ней жил, – вспомнил он комнатнушку, где царица Туркан-Хатун предлагала ему себя. – Если б государь соизволил приказать дворцовым служителям привести эту келью в жилой вид: вымыть, проветрить, поставить в ней жаровню, тахту и столик, постелить ковер, я поселился бы там.

– Вы что, учитель? – испугался султан. – Во дворце – опасно.

– Кому я нужен, – пожал плечами Омар. – Кто и за что будет меня убивать?

– Ну, не скажите! Над нами всеми – око Медузы Горгоны. Кажется, так звали чудовище, которое стало затем звездой Алголь? Секретный глаз Хасана Сабаха...

Омар – с осторожной настойчивостью:

– Меня защитит мой пес Басар...

Он не может читать без своего волшебного стекла. Значит, придется его показать. Что из этого выйдет, бог весть. Око Медузы – далеко, для поэта сейчас око султана страшнее...

– Здесь лучше! – Султан взглянул на телохранителя. Тот вышел в прихожую: не дай бог, кто подслушает разговор государя с ученым. И сам заодно не узнает того, что ему не следует знать. – Здесь, под этим сюзানে, – зашептал султан возбужденно, – есть скрытая дверца... Она ведет в другую комнату, где колодец со ступенями... Из колодца по подземному ходу можно выйти к холму за городской стеной... Никто в Исфахане не знает про тайный лаз! Его велел отрыть ваш друг, мой покойный отец Меликшах, мир его праху. Едва рабы закончили дело, султан их всех перебил. И открыл тайну мне одному, – Баркьяруку он не доверял. Я же доверился вам, – видите, как высоко я ценю вас, учитель...

– Аллах сохрани нас от нужды прибегать к услугам тайных лазов! – вскинул Омар ладони к лицу. – Впрочем, – сказал он без интереса, – из дворца, из той самой кельи, где я хочу поселиться, есть другой тайный ход. Как раз в эту сторожку. В колодце, если налечь плечом на выступ, открывается вторая дыра. Меня однажды, когда я лечил вас от оспы, провели отсюда туда, – сюда я пришел обычным путем. Так что мы сможем видеться, когда вы пожелаете, и никто об этом не будет знать...

Омар подошел к высокому окну, сквозь решетку выглянул наружу. Все тихо, спокойно. В бассейне, заваленном всякой дрянью, настороженно, с оглядкой, копошатся две вороны, серая и черная. Наконец-то он один в своей келье! Никто не ворвется сюда неожиданно: дверь на запоре, за дверью – Басар; на крышку подземного лаза, накрытую толстым ковром, Омар поставил рабочий столик.

Чтобы докопаться до истоков такого странного явления, как учение Хасана Сабаха,

Омар читал книги, взятые у хашишина.

Он оцепенел у раскрытого окна...

К двум воронам, серой и черной, что роются, деловито отгребая мусор лапами, в загаженном мраморном бассейне, тихо крался из-за угла одноглазый, ободранный в драках лохматый кот...

Поэт видел внутренним зрением огромный простор обожженных солнцем песчаных равнин, и красные скалы над узкой синей долиной, и пальмы вдали у колодца, и черный камень Каабы.

Он слышал слухом воображения вкрадчивый шепот былых заговорщиков, и мерный шаг верблюдов на тропе войны, и протяжные песни на стоянках, и рев толпы на городских площадях, и яростный звон мечей...

Терпи, голова! Спасибо тебе! За то, что ты не утратила с годами способность ясно мыслить. И можешь вникнуть в путаную суть давно отгремевших сражений. И перевести бред событий на внятный язык короткого доклада султану...

Между тем рыжий кот во дворе, осторожно взобравшись на кучу палой листвы под стеной, замер, слившись с листвой похожей мастью, и стал почти незаметен. Омар видел сверху, как у него от нетерпения извивается хвост. Две вороны в бассейне продолжали увлеченно рыться в отбросах. За ними следила с голой чинары стая ворон, серых и черных, которые то прилетали, то улетали.

Сунниты, шииты, исмаилиты. «И немало еще всяких прочих... Все они шумят в одной и той же стране. И все хотят навязать другим свое «единственно верное в мире учение». Силой, конечно. Никого не заботит, нуждается кто или нет в такой их сомнительной «правде»...

Ох! Терпи, голова! Такую муть хлебнуть – и суметь в себе проверить. Поразительно, какую изворотливость, сколько домыслов и ухищрений рождает одна предпосылка, в основе которой – ложь. То есть религия.

Э, ну их всех! Омар устал от размышлений и почувствовал отвращение к этому бесплодному занятию. В алгебре, при всей ее сложности, все ясно. И, решая любую задачу, всегда находишь четкий ответ. Тут же – расплывчатость, бездоказательность. Неразбериха! В голове от нее туман. Один человек не может охватить сразу то, в чем веками никак не разберутся миллионы.

Он налил полную чашу вина и выпил до дна.

Вино! Нет лучше средства отбросить хлам земной
И семьдесят две секты с бессмысленной возней,
Алхимии вершина и жизни эликсир,
Оно врачует сердце от раны в нем сквозной.

Человек должен быть свободен! Душой и телом. Вот наша правда. Все, что дано человеку природой, нравственно. Нравственны разум и чувства. Опять мы вернулись к Эпикуру. Безнравственно то, что придумано людьми для устрашения и угнетения других людей. То есть запрет на разум и чувства.

Но все же, раз уж ты взялся, дело следует довести до конца. Тем более, что султан ждет от тебя каких-то откровений.

К чему же сводится учение исмаилитов? Чем оно отличается от прорвы других, не менее замысловатых? Прежде всего верой в переселение душ.

Омар долго листал «Книгу счастья» знаменитого исмаилитского проповедника Насире Хосрова, который упорно насаждал свою веру в Балхе, Нишапуре, Мазан-деране, Сеистане и Хутгалине. Ее, в числе прочих книг, оставшихся от казненного хашишина, принес визирь Сад аль-Мульк.

Ученый давно знал об этой книге, но до сих пор у него не возникало нужды в нее заглядывать. Поэт-математик читал совсем другие книги...

После смерти человека душа отнюдь не сразу находит место в загробном мире. Ей предстоит немало испытаний. Выйдя из тела, она поднимается вверх, к небу, в виде ветерка, дыхания. Там она примешивается к облакам, к дождевой воде, скопившейся в них, и вместе с дождем падает на землю, входя вместе с водою в какое-нибудь растение. Животное-самка съедает растение, куда вошла душа, и родит детеныша, в которого эта душа и переходит.

Человек закалывает животное в пищу, и тогда душа, вместе со съеденным мясом, входит в тело беременной женщины и становится душой рожденного ею ребенка.

Все, впрочем, зависит от поведения души. Если она ведет себя плохо, при следующем перевоплощении она может быть наказана переходом из человека только в животное или из высшего животного в низшее. В виде тягчайшего наказания она может угодить в безмолвный камень. И остаться в нем навсегда...

Ну, что ж. В этом есть хоть какой-то смысл, намекающий на единство материи и круговорот веществ в природе. По всему видать, учение исмаилитов сложилось под воздействием индийских и древних персидских верований. Которые самым странным образом наслоились на «правоверный» ислам.

В конце концов, после долгих мытарств, душа попадает все в тот же рай или ад, смотря по заслугам...

Эх! И стоило такой минарет возводить, если вы все равно не способны уйти дальше пресловутых ада и рая?

Вера в ад и рай – самый вредный и, пожалуй, самый страшный миф, придуманный людьми. Ибо сводит насмарку единственно подлинное счастье, которое перепадает человеку, – земную жизнь. То есть жизнь вообще, – ведь на самом-то деле ее нет иной, кроме земной.

Прожив ее кое-как, в туманной надежде на загробное воздаяние, скомкав и скоротав как придется, словно бы торопясь отделаться от нее, человек после смерти ничего – совершенно ничего! – не получает взамен. Нуль. Пустота. Ни малейшей искры сознания.

Не было в мире лжи более гнусной. Скажешь – непременно кого-то обидишь, но все же выходит, что религия служит не жизни, а смерти...

Усталый Омар – вновь у окна...

Одноглазый кот исподволь подобрался по груде жухлой листвы к двум воронам, затеявшим ссору в мраморном бассейне, который с недавних пор превратился в мусорную свалку. И едва зверь взметнулся в прыжке и схватил одну из ворон, как на беднягу с гнусавым карканьем ринулась сверху, с голой чинары, вся стая ворон, серых и черных.

Застучали тяжелые клювы. Рыжий кот выпустил жертву, задрал хвост и с раздирающим визгом заметался под чинарой. Кажется, ему выклевали второй глаз.

Омар вернулся к столу...

Вот мы и подошли к учению Хасана Сабаха. Сквозь дикие дебри пришлось пробиваться к нему...

Легкий стук в дверь. Омар спрятал стекло, встал, открыл. А, это визирь. Вот почему Басар не рычал. Он раньше видел их вместе, мирно беседующими.

Визирь – единственный, кто ходит по дворцу без целой оравы грозных телохранителей. Его сопровождает лишь слуга – незаметный, тихий человечек.

Басар спокойно пропустил визиря, но едва слуга сделал шаг вслед хозяину, пес свирепо зарычал и встал на пороге.

Сад аль-Мульк быстрым движением пальцев отдал слуге какое-то приказание. Тот послушно отошел к противоположной стене коридора и уселся под нею напротив открытой двери, так, чтобы видеть, что происходит в комнате.

Пес улегся на пороге, – не поперек входа, а наискось, прижавшись к косяку, – он мог так держать под присмотром и визиря и его слугу.

– Раб глух и нем, – сказал визирь. – Не помешает нашей беседе.

– Как же вы объясняетесь с ним?

– Делаю знаки. Его взгляд всегда прикован ко мне. Зрение – отличное. Может, метнув острый нож, попасть в яблоко за сорок шагов...

И вспомнился тут Омару язык знаков – тайный язык хашишинов.

– Есть что-нибудь интересное? – кивнул визирь на столик с книгами, оставаясь в поле зрения раба.

– Много интересного, – вздохнул Омар. Присутствие визиря, при всей его внешней доброте, угнетало поэта. Он без особой охоты подвинул к нему подушки. – Извольте присесть.

Визирь сел, опять же так, чтобы слуга мог его видеть.

– «Саадат-намэ», – зевнул Сад аль-Мульк, раскрыв книгу. – «Саргузашт-э саид-на», «Дават-э джадид», – перечислил он с отвращением названия книг, лежащих на столе, всем своим видом показывая, как претит ему подобное чтение. – И хватает у вас терпения копаться в такой пакости...

– Обязали, – пожал плечами Омар.

– Если духовный владыка державы Шараф уль-ислам Садреддин Ходженти увидит у вас эти книги, он сразу вообразит, что вы сторонник Хасана Сабаха, – да будет он трижды проклят!

Фразу визирь построил так, что было непонятно, кому он желает быть проклятым трижды: Хасану Сабаху или «славе ислама» Садреддину.

– Не страшно, – усмехнулся Омар. – Султан объяснит ему, зачем я читаю эти книги.

– Страшно! Все страшно теперь в нашей стране. О боже! – Визирь, как бы рассеянно, о чем-то забыв и стараясь вспомнить, шарил глазами по келье – стенам, нишам и сундукам. Погладил ковер, стараясь что-то нащупать под ним. Будто что-то искал. Щель какую-нибудь. Или тайный ход. – Я одного не понимаю, – уныло вздохнул Сад аль-Мульк, ничего не найдя. – Как такой человек, независимый, гордый, как вы, будучи с детских лет неоднократно обижен тюрками, может им служить? Мы оба с вами – персы, никто не мешает нам говорить откровенно. Вы должны бы их ненавидеть! Сказано: тюрки не из рода людей, они из джиннов и пери. А джинны и пери существовали еще до Адама...

– Опять вы за свое! – скривился Омар. – Поймите: я, Омар Хайям, не могу ненавидеть тюрков только за то, что они тюрки. Как и евреев – за то, что они евреи, христиан – за то, что они христиане. Они люди, как все, – не лучше, но и не хуже. Тюрк Абу-Тахир Алак приютил меня в Самарканде и дал мне возможность написать мою первую книгу. Другой тюрк, простой человек Ораз, всю жизнь был моим приятелем. Он подарил мне эту собаку.

– Зато тюркский бей Рысбек ограбил вашу юность! – сказал горячо Сад аль-Мульк.

– Откуда вы знаете? – удивился поэт.

– Мы все знаем! Тюрки Меликшах и его вдова Туркан-Хатун ограбили вашу зрелость. Тюрк султан Мохамед, в первый же день встречи с вами, в глаза назвал вас, на старости лет, собакой, – я услышал это из прихожей...

Омар безотчетно взял со стола «Книгу счастья», понурил голову. Он долго глядел на черную обложку. Визирь терпеливо ждал, как поэт ответит ему.

Тюрки? Да, это сложный вопрос. Особенно у нас, в Иране. В Заречье – проще: оно ближе к исходному расселению тюркских племен, они проникли в Шаш, Фергану, Хорезм, Самарканд и Бухару исподволь, мало-помалу за тысячу лет, и, поначалу крепко схватившись с местным согдийским и прочим ираноязычным населением, затем мирились с ним и постепенно оседали по соседству и вперемешку. С годами тюрки перенимали у местных жителей навыки земледелия, их быт особый, зато передавали им свой язык, так как были сильнее, больше числом и обладали властью. Это можно назвать медленным проникновением и смешением.

Больших завоевательных походов не случалось, – разве что при древних каганах и позже, при Караханидах. Но и при них новые волны переселенцев без особых потуг наслаивались на прежние, родственные по языку и происхождению, и растворялись в знакомой среде. Туран велик, много воды, много земли, – всем хватит места.

Словом, тюрки в Заречье – свой народ.

Сюда же, в Иран, они хлынули недавно – и сразу скопом, крутой сокрушительной волной. И, приспособив страну к своему образу жизни, но больше – приспособившись сами к новым условиям, остались все же чужими.

Более того, врагами, ненавистными захватчиками. Ибо отобрали у крестьян лучшую посевную землю и наложили на ремесленный люд ярмо невыносимых податей.

Но будто дело только в тюрках! Мы и до них без усталости резались с византийцами, с арабами. Но чаще – между собой...

Омар оторвал глаза от обложки, – и черный ее прямоугольник, отпечатавшийся в зрачках, явственно отразился на лице визиря. Так бывает, если пристально смотреть на один предмет – и взглянуть на другой.

Он бросил на стол «Книгу счастья».

– Осмелюсь заметить, вы тоже, – резко сказал Омар, – не ромейскому кесарю служите. А тому же тюркскому султану.

– Я... поневоле.

– Я тоже...

Разговор опять скользкий, уклончивый и потому – удручающе-тягостный. Чего хочет от него визирь? Он чего-то хочет от Омара.

– Его величество изволит звать вас к столу, – сообщил Сад аль-Мульк.

И только?

Омар с досадой сложил книги, убрал их на полку, где перед тем спрятал стекло. Он неохотно принимал участие в этих совместных трапезах. Хлеб застревает в глотке! Не ты ешь, – султан тебя ест заодно с вареным мясом, взамен острой приправы, которой теперь не стало.

Человек он невыносимый.

Омар начинал понимать, почему хашишины идут на верную смерть. Им нечего терять. Они не поэты, чей удел – терпеливо сносить издевательства. Ради все той же божьей искры в душе, которую почему-то все хотят в тебе погасить. Мешает, что ли, она кому? Видно, мешает. Видно, для них нет выше чести сказать: «Слыхал о таком-то поэте? Это я его извел...»

Первое, что увидел Омар, выйдя с визирем и его безмолвным слугой из дворцовых покоев (Басар, конечно, неотступно следовал за ним), – как всегда, крутой горный хребет Кухе-соффэ, грузно нависший над городом. Изломанный голый хребет без травы и деревьев. Камень сплошной. Гребень скалистой гряды увенчан цепью мощных сторожевых башен.

В городе даже уютно от этого прикрытия.

На самой высокой скале – крепость Шахдиз. Ее построил султан Меликшах. Отсюда, снизу, хорошо видна длинная суровая стена.

Но не видно, что творится за нею.

– «Семь роз»...

– Я уже дал тебе «Неджефскую розу»! И амбру, и мирру. Все, что мог найти в этом скудном Шахдизе...

Он стянул, после долгой борьбы, с нее платье.

Впрочем, боролась она не бездумно, лишь бы отбиться, а в меру, с расчетом, чтоб не убить в нем с грубостью страсть. Никак нельзя упустить такую добычу! Голый живот с глубоким пупком. Гость, задыхаясь, целовал ей живот и острые, торчком, сосцы еще не налившиеся грудью.

– Ханифе, Ханифе...

Прикосновение пышных усов приводило девушку в неистовство. Она едва созрела и оставалась пока что «невинной», но была уже развращена до кончиков пальцев. Ибо родилась и выросла в гареме.

Гарем – не строгое глухое заведение, где, как можно подумать, чинные жены султана

проводят дни в постах и молитвах. Вовсе не в постах! И не в молитвах. Многое можно б о них рассказать, да стыдно. Их сейчас, кстати, нет, – они внизу, в Исфахане. Султан не боится хранить в Шахдизе арсенал и казну, но юных жен своих он держит под рукой, верней – под замком, во дворце. Здесь – плясуньи, певицы, девицы для услуг и развлечений.

Злых султанш сейчас нет, зато есть старуха-опекунша. Она ходит с тяжелой клюкой, которой с холодным бешенством, стиснув черные зубы, бьет непослушных.

Говорят, она служила в гареме еще при дурной царице Туркан-Хатун...

Самых красивых, с отменным телосложением, она готовит для султана и его приближенных, кому там из них государь пожелает сделать приятный подарок, и с глубоким знанием дела обучает их тонкому и безумному искусству любви.

Здесь своя придворная жизнь – с ложью, враждой и предательством, завистью, вечной грызней и соперничеством. Самое смешное или, скорей, самое страшное, в том и состоит, что гарем, созданный вроде бы для того, чтобы ограничить женскую распущенность, как раз и является ее питомником.

Каждая знает, для чего предназначена, и стремится продать себя подороже.

– «Неджефскую розу»? – фыркнула Ханифе, упрямо вывертываясь из его могучих рук. – У кого нет «Неджефской розы»? Она в четыре раза дешевле «Семи роз»...

Речь шла о дорогих знаменитых духах.

– Где я их возьму?

– Где хочешь...

– Эх, дура. – Он устал, остыл – и оставил ее в покое. – На стоимость пузырька «Семи роз» иной бедняк может безбедно прожить с детьми тридцать дней.

– Тебе-то что до них? – Она испугалась: он больше к ней не придет. И уязвила его тщеславие: – А еще зовешься Алтунташ, «самородок», «золотой камень», – кажется, так по-тюркски, по-вашему?

– Пожалуй! – вскричал Алтунташ. И вновь набросился на девушку.

– «Семь роз», – брыкалась она.

– Я найду тебе их целую бутыл!

– Когда найдешь...

Он мог бы одним ударом своего огромного кулака оглушить ее – и овладеть любым изощренным способом, как делал с другими, если не поддавались. Но что-то в его звериной душе не позволяло ему сейчас так поступить. Уж очень она, – э-э, как бы сказать, – мила, свежа и пригожа. Сама юность.

Варан в пустыне – и тот нежно пыхтит от любви...

– Ладно. – Он отпустил ее, встал. Подобрал, кинул ей платье. И ушел, оскорбленный и злой.

Ей даже стало жаль его, такого огромного и беспомощного. И обидно – из-за того, что он не взял ее силой. Вот и пойми их, женщин. Душа Ханифе плакала ему вслед.

Но «Семь роз»! Уж очень хотелось ей пахнуть ими. Чтобы подружки скрежетали зубами от зависти, а мужчины трепетали от вожделения. И впрямь дура. Не понимает, что нет в мире аромата тоньше, привлекательнее и соблазнительнее, чем трепетный запах свежeweымытой девичьей кожи...

Его перехватила старуха:

– Ну что?

– «Семь роз»! – прорывал Алтунташ, готовый ее разорвать.

– Постой-ка, молодой, красивый, – с усмешкой взглянула она на его корявую кожу. – И, хихикнув, прильнула к нему. Нет ничего отвратительнее молодящейся дряхлой старухи. – Постой-ка, постой, – произнесла она вкрадчивым шепотом, когда он ее оттолкнул. – Пошли человека к визирю. Девушки, мол, обносились, ни у кого не осталось целой чадры, приличных штанов, ходят босые. В гареме – визг. Нас, как ты знаешь, перевезли сюда поспешно, перед боем у стен Исфахана, – кто в чем был, в том и ходит до сих пор. Пусть визирь найдет и пошлет в крепость кого-нибудь из дельных торговцев. Нужен женский

товар. Через него ты и достанешь свои «Семь роз». И сорвешь за них одну розу...

– Хм-м, – промычал Алтунташ.

Он прошел, не взглянув, мимо подкупленных евнухов. Внизу, во дворе, раздался его властный голос:

– Эй, Какабай!

И не нашлось во всей крепости человека сказать распаленному тюрку. «Стой! Остынь. Образумься, начальник Шахдиза. Ханифе – обворожительна, да, но что, если прихоть этой, по сути, ничтожной козявки, ее пустая гордыня решат судьбу неприступной твердыни и многих-многих людей, в том числе и твою?»

Нет, не нашлось такого человека! Сам же гордый тюрк Алтунташ, по недостатку ума и воображения, и на миг не мог допустить подобного предположения. В его руках – арсенал и казна государства, и Алтунташ казался себе чуть ли не равным султану. Он сам решает судьбы людей. Судьбу Ханифе, например...

Самодовольство – самоубийство.

– Какабай, хваткий ты мой! – проквакала сверху, с площадки, старуха. – Перед тем, как уехать, коварный, зайди ко мне. Я расскажу тебе, хваленый, сколько чего привезти.

Балбес Какабай выпятил грудь и расправил усы. Они, усы, очень нравились ему самому...

Омар с опаской раскрыл «Саргузашт» – «Пережитое» Хасана Сабаха. Приготовил чистую тетрадь, записывать самое существенное.

Где-то печально мяукал ослепший кот. Погибнет, бедняга. Хотя... кошкам глаза заменяют усы. Найдет пропитанье на мусорных свалках. Не пропадет. Но на ворон, серых и черных, нападать больше не будет...

«С дней детства питал я любовь к разным знаниям; я хотел стать богословом и до семнадцати лет веру отцов исповедовал»...

Итак, в детстве тебя одолевала любовь к разным знаниям. Похвально, похвально. Меня – тоже. И Газали.

Я направил свою любознательность на изучение точных наук.

Абу-Хамид Газали ударился в мистику.

Как получилось, что ты, человек, по всему видать, неглупый, применил свою жажду знаний к истреблению ворон, серых и черных? Омар сам не заметил, что сравнил Хасана с тем безглазым котом.

«Однажды в Рее я встретил исмаилита по имени Амирэ Зарраб...»

С этой встречи и началось восхождение Хасана Сабаха к Орлиному гнезду.

«В то время меня постигла опасная болезнь. Бог изменил мое тело в нечто лучшее, чем мое тело, и мою кровь в нечто лучшее, чем моя кровь. И я поправился от тяжелой болезни...»

Ну, тут понятно. Болезнь есть болезнь. Поправился? Нет, дорогой, ты навсегда остался больным. Тело и кровь твои, может быть, изменились к лучшему, но твой мозг...

Знай, я люблюсь заочно тобой: ты один из многих осмелился так круто взбунтоваться против царской власти. Но, как человек, далекий от всяких религиозных исканий, я не могу, извини, их приветствовать в ком бы то ни было...

Жалуясь на судьбу и на суровость сельджукида Меликшаха, Хасан воскликнул с тоской: «О горе! Если б хоть два человека были со мной единокорны, я бы это царство (Иран) перевернул вверх дном».

– Э, брат, а ты – хват, – усмехнулся Омар. – Не повезло тебе в жизни – ты и готов весь мир поджечь...

Таковы они, пророки. Прячутся где-то в чужих краях, и затем, улучив удобный миг, возвращаются домой в качестве «спасителей».

Омар все время ловил себя на тайной неприязни, даже глухой враждебности к Хасану Сабаху, которым, за его отвагу, талант и деловитость, следовало бы, честно сказать,

восхищаться.

Шутка ли: выйдя из самых низов, из мутной среды чеканщиков, шорников, плотников, задаться целью «перевернуть вверх дном» огромное царство.

Человек он исключительный.

– Но и ты не из ханского рода, – сказал себе Омар. – И тоже уже сто раз «перевернул» это царство. Правда, в стихах...

У него, как ледышка в кипящей воде, мелькнула неприятная мысль о своей какой-то причастности к тому, что делает Хасан Сабах. Но тут же в душе, клокоча, всплеснулась волна возмущения:

– Я – совсем другое...

Он с детских лет не выносил ловкачей и проныр. «Недоверие» – вот самое точное слово, которым можно определить его отношение к «шейху горы». Недоверие к искренности слов и поступков.

Омар же искренен до последней запятой в своих стихах.

У него много сомнений, и он спрашивает: «Почему?»

Не проповедует, а спрашивает.

Он, точно клопов, терпеть не может всякого рода проповедников.

Его не надо «просвещать». Человек с ясным, холодным умом, глубоко образованный, с огромным жизненным опытом, не нуждается в том, чтобы его вели за ручку, как ребенка. У него крепкие ноги и свое устойчивое мировоззрение.

Проповедь действует на ум мало искушенный, и, выходит, всякая проповедь рассчитана на невежество. В котором она ищет опору. И находит. А невежество – первый враг Омара Хайяма.

Вот в чем разница между Омаром Хайямом и Хасаном Сабахом...

Далее в записках следовало горячее перечисление многих областей, городов и селений, где Хасан со своими сподвижниками лихорадочно вербовали сторонников.

Визирь Меликшаха, знаменитый Низам Аль-Мульк, покровитель Омара Хайяма, велел изловить Хасана Сабаха.

И перед Хасаном отвесной и темной кручей Аламута неумолимо встала необходимость: найти укрытие, недостижимое для сельджукидских властей.

Крепость принадлежала тюрку Юрюнг-Ташу. Силой взять Орлиное гнездо Хасан не мог. И никто на свете не мог бы взять крепость силой. И шейх проник туда хитростью...

Это обошлось ему в три тысячи золотых динаров – на подкуп начальника Алови Махди...

Под ногами Омара, из-под ковра, – глухой трехкратный условный стук.

Омар спрятал стекло, неохотно отодвинул столик, отвернул ковер, откинул тяжелую крышку лаза.

Из люка – толстая рука с чадящим факелом. Поэт взял фонарь, поставил его в стороне. Показался стальной чеканный шлем.

Султан, весь в глине, вылез из дыры.

– Уф! Чуть не задохнулся.

– Государь словно в бой снаряжился, – удивленно взглянул Омар на его голубой островерхий шлем.

– Чтоб не оглушили сверху, когда вылезаю, – усмехнулся султан.

Неприятно Омару.

– Кто здесь мог вас оглушить?

– Мало ли кто! Всякое бывает. У царей – с детства война, везде и со всеми.

«Эх! – Омар подал ему полотенце, отереть грязь с рук и лица. – На кой бес тебе все сокровища мира, если ты не можешь ходить свободно, распахнув рубаху на груди и заложив руки за спину, не торопясь, по цветущему лугу под нежным весенним солнцем, и должен в собственном доме лезть под землю, как мышь?»

– Читаешь? – кивнул султан на столик с книгами.
– Читаю. С трудом разбираю. У меня испорчено зрение.
– И что же ты вычитал?
– Пока ничего определенного сказать не могу. Я на середине пути. Не дошел еще до сути их учения.

Он, конечно, уже составил себе какое-то, хоть примерное представление о Хасане Сабахе. Но не мог говорить ни за, ни против него, не добравшись до этой самой сути. По черному пятнышку на яблоке не скажешь, червиво оно или нет. Бывает, червь, испортив кожуру, отпадает. Или птица его склюет. Иной же, с виду совсем здоровый, золотисто-зеленый плод внутри весь червивый...

– Долго! – сказал недовольный султан. – Уже сколько дней. Весна на дворе! Новый год.
– Разве? Я не заметил. Но, уж если такая спешка, извольте взглянуть. – Омар взял с полки «Книгу управления» Низама аль-Мулька, нашел по закладке нужную страницу. – Может быть, государь не сочтет за труд сам прочитав это место, – у меня устали глаза, я не вижу. Тут все сказано об исмаилитах.

Пусть царь сам делает выводы. Омар – всего лишь сторонний наблюдатель...

«Нет ни одного... разряда людей, – прочитал государь запинаясь, – более зловещего, более преступного, чем они... Исподтишка замышляют они дело против государства, ищут порчу для веры; прислушиваются к каждому звуку, приглядываются к каждому миганию глаза. Если, упаси боже, нашу державу... постигнет какое-либо несчастье... эти псы выйдут из тайных убежищ, восстанут и произведут... разруху, споры и ересь. Они ничего не оставят...»

– Я это уже читал! – Султан сердито захлопнул книгу. – Я хотел с твоей помощью узнать что-нибудь о самом Хасане Сабахе. Заглянуть ему в душу.

Омар вздохнул и пожал плечами.

В наступившем году хашишины зарезали Абуль-Касема Исфизари, градоначальника Рея.

В Нишапуре, в мечети, убит Махамшад, суннит, предводитель керрабийцев. В Хомсе, во время богослужения, – владетель города Дженах ад-Доуле.

За то, что они досадили чем-то «шейху горы».

– Ой-ой! – Ахмед Атташ сдвинул шапку на брови, чтоб не упала, и, задрав красную бороду, чуть ли не с ужасом взглянул наверх. Крепость навалилась на него всей своей каменной громадой. Маленький, жалкий, торговец вскинул к лицу дрожащие руки с ногтями, окрашенными хною: – О аллах! Дай нам силу одолеть сие препятствие...

Повозка в Шахдиз не пройдет. Ахмед навьючил переметные сумы с товарами на крепких мулов и повел небольшой караван по крутой тропе, соединяющей город с крепостью.

Она была узкой и голой, безлюдной, без следов, без где-либо нависшего над нею кустика с невзрачными цветами.

Тропа натужно вползала по неприступному, почти отвесному склону горы, у всех на виду, так что появившись кто на ней, его заметили бы и снизу, из города, и сверху, с башен сторожевых.

С огромным напряжением допетляв до старой промоины между скалами, тропа как бы с усталым вздохом сворачивала в нее – и обессиленно упиралась в тяжелую каменную кладку поперек прохода. И, сникнув, уползала под своды тесных ворот, закрытых толстой тяжелой решеткой.

Ободрав бока и спину об ее острые зубья, змея-тропа еле тащилась далее по извилистой промоине, где навстречу ей поднимались новые стены и решетки.

И всюду на этих перемышках над ней, опершись о копыя, каменно дремала стража, косматые горцы-дейлемиты.

Лишь одолев преграды, вся в рубцах и ссадинах, горе-тропа, окончательно выдохшись,

медленно подбиралась по темной расщелине к исполинской стене Шахдиза...

Войти сюда Ахмеду Атташу позволила бумага с печатью визиря.

– Нет в мире войска, нет в мире осадного приспособления, что сокрушит эту крепость, – поучал Ахмед, отирая платком потную шею и грудь, находившихся при нем двух слуг. Они как сели на камни, так и вытянули со стоном ноги в толстых цветных чулках и открытых чуваках из сыромятной кожи. Караван остановился передохнуть перед последним подъемом. – Видите эти огромные глыбы? – озирает он, ошеломленный их мощью, грубо обтесанные камни, скрепленные алебастровым раствором. – Их не пробить, не расплавить, не сдвинуть. Но у нас есть оружие страшнее любого тарана: флакон духов «Семь роз»...

Так что же, в конце концов, представляет собой «Дават-э джадид» – «Новое учение» Хасана Сабаха, будь оно проклято?

Омар изрядно устал от суннитских, шиитских, исмаилитских нелепостей. Мысли его заходили в тупик. Но дело есть дело. К удивлению Омара, оно оказалось до смешного несложным...

«Только бог имеет абсолютное бытие. Всякая вещь, которая отделяется от него, падает в абсолютное небытие.

Физический мир, управляемый его законами от высших сфер до центра земли, существует только через существование бога...»

Эх-хе-хе! Все то же. Что же тут нового по сравнению с основным положением о боге как творце мира? Та же вера в пророческую миссию Мохамеда, уважение к «нерукотворному» корану и шариату...

Дальше: «Познание бога разумом... невозможно».

Хм. А я-то, бедный, всю жизнь выше всего на свете ставил разум и воображал, тупой человек, что для него нет ничего недоступного. Но, коль скоро это не так, то как вы советуете нам, почтенный, познать божество?

Хасан Сабах: «Познание бога возможно только поучением имама и изучением его поучения».

Вот оно! Вот оно, самое главное: верь имаму, и больше тебе ничего не нужно для счастья. Это и есть краеугольный камень всего учения Хасана Сабаха. Придет «скрытый» имам-учитель, и все на свете встанет на место...

Под имамом-учителем, похоже, Хасан подразумевает себя. Хотя и не говорит об этом прямо. Но, господа, сколько их приходило и уходило, славных имамов! И каждый выдавал себя за «настоящего». А на земле все осталось, как было...

Омар, докопавшись до сути, утратил к Хасановой книге всякий интерес.

Сколько ухищрений, чтобы обосновать свое «право» на власть! А суть проста: скинуть турков и создать в Иране исмаилитское государство. Конечно, «свободное» и «справедливое». И сделаться, может быть, основателем новой царской династии. Со штатом своих придворных, гаремом и той же раздачей наград угодникам. Только и всего. Это уже не раз случалось...

Первый вопрос:

– Привез «Семь роз»?

– Семь роз? – удивился Ахмед Атташ. – Какие розы в эту пору? Они еще не распустились.

Разговор – сквозь раскрытую низкую калитку, врезанную в тяжелый створ высоких ворот.

– Я... о духах...

Тюрк Алтунташ, выжидательно наклонившийся через калитку к Атташу, разочарованно выпрямился. Оттолкнулся рукой от косяка, на который опирался, обиженно ею махнул, отвернулся и сплюнул. Ничего не выходит. Он отступил и взялся за большое медное кольцо.

Пусть глупый торгаш убирается прочь со своей дурацкой бумагой: «Предъявителю сего дозволено торговать, где и чем он пожелает». Сам тюрк Алтунташ читать не умеет, – бумагу ему прочитал дабир – перс-письмоводитель. Алтунташу, конечно, знакома печать визиря, но визирь ему не указчик.

– Вот и торгуй там, внизу, на скалах...

– А! О духах... – Ахмед, испугавшись, что начальник сейчас закроет перед ним калитку, скинул на порог с плеча тяжелую суму. Ишь, какой нетерпеливый. Погоди, ты получишь свое. Я больно ударил тебя, оглушил, – сейчас нежно поглажу, и станешь ты мягким, как пух... – «Исфахан – ярим джахан». Кажется, так говорится по-тюркски? Исфахан – половина мира. Но исфаханский торговец, особенно такой, как я, Ахмед Атташ, не половина – он сам целый мир. «Семь роз?» Тьфу! Хоть «Семнадцать». Я привез, – доверительно прошептал Ахмед Атташ, – и кое-что получше. Душистый отвар из рога индийского носорога.

– Это зачем?

– Как зачем?! – Ахмед оглянулся на слуг и, поманив начальника пальцем, объяснил ему, давясь от смеха, чуть слышным шепотом, какими достоинствами обладает волшебный отвар.

– У-у, – густо загудел багровый Алтунташ.

– Но – услуга за услугу! Ты позволишь мне оставаться в крепости, пока я не распродам весь свой товар. В городе нет покупателей. Ты думаешь, легко мне было карабкаться по этой круче?

– Открыть ворота! – хрипло рявкнул тюрк Алтунташ.

На переднем дворе, справа от ворот, – казарма, слева – конюшня. Развьюченных мулов Атташа отвели в конюшню, его самого со слугами и товарами, в казарму. Алтунташ ему выделил отдельное помещение, велел убрать из кладовой котлы со смолой, приготовленной на случай осады.

– Ну? – Алтунташу не терпелось завладеть обещанным сокровищем. Ханифе! Проклятая девчонка...

Атташ, покопавшись, достал из переметной сумы угловатый таинственный сверток. Развязал шелковый алый платок, вынул резную шкатулку из бледно-золотистого сандалового дерева.

В шкатулке, в двух выемках в бархатной подушечке, уютно лежали два плоских стеклянных флакона.

– Вот это – «Семь роз», – показал Ахмед, – а это... хе-хе... «Семь раз»...

Жидкость в правом флаконе была буровато-невзрачной, во втором – маслянисто-бесцветной.

– Это и есть «Семь роз»? – удивился Алтунташ. Он не верил. – Похоже на мутную водичку из канавы.

– Смесь, – пожал плечами торговец. – Зато – аромат! Ты понюхай.

Алтунташ осторожно откупорил флакон, поднес к увесистому носу.

Недоверие на его корявом лице сменилось недоумением. Затем в глазах мелькнула искра узнавания, и за недоумением пришло изумление.

Глаза увлажнились, лицо побелело. У него подкосились ноги, он сел на лежанку вдоль стены. И прошептал со скорбью:

– Сколько?

Ахмед – беспечно:

– Дарю! Оба флакона. Ибо они нераздельны. Первый из них выражает субстанцию женскую, второй – мужскую. Принимай по тридцать капель...

Алтунташ, как во сне, закупорил флакон деревянной затычкой, вложил в шкатулку, взял шкатулку вялыми руками, с печалью взглянул на купца. И пошел прочь, бледный, потерянный, как человек, внезапно ощутивший дурноту.

Обернувшись, тихо спросил:

– Прислать покупателей?
– Нет, сегодня торговать не буду. Устал. Буду отдыхать. Пошли сюда моих слуг, они во дворе, пусть разберут товары. Приходи к ужину, – сказал он шепотом, – я привез бурдюк хорошего вина.

– Вина? – Тюрк огляделся, как помешанный. – Дай сейчас. Налей мне чашу.
– Изволь. – Ахмед отыскал меж тюков тугой бурдюк, из переметной же сумы извлек расписную чашу.

– Тридцать капель? – раскрыл начальник шкатулку...

Омара позвали делать султану очередное кровопускание.

– Эх, весна! – Молодой туркмен, пришедший за ним, остановился на ступенях широкой лестницы, задрал голову к небу. – Сейчас бы в степь...

Даже Басар нетерпеливо взвизгивал и все срывался с места бежать куда-то. Но бежать было некуда.

– Что, Басар? Тоже хочется в степь? Ты бы сейчас пустился стрелой по зеленым холмам...

– Вы, персы, народ городской, – вздохнул молодой туркмен. – Не понимаете, какая это радость – зеленый простор...

– Отчего же не понимаем? Отдаленные предки наши, древние огнепоклонники, тоже были кочевым народом. Веками скитались между Дунаем и Обью. Бродяжничество у нас в крови. Я бы тоже рад сейчас уйти в голубой и зеленый простор. Надоело сидеть в тесной келье, дышать вонью мусорных свалок. Но, увы, посадили нас с Басаром на цепь...

В сторожке больной государь вяло возился с годовалым ребенком в синей бархатной одежде, увешанной предохранительными амулетами. Казалось, царь ворочает в руках китайскую фарфоровую вазу в желтых треугольниках цветов.

– Мой сын Махмуд, – бледно улыбнулся Мохамед.

Он хотел бы сказать с гордостью, но для гордости царь был сейчас слишком слаб. Да и нечем пока что гордиться. И в дальнейшем вряд ли будет чем. Хиреет род Сельджукидов...

Мальчик, весь в золотушных болячках, гладил отца по рябому лицу и с радостным смехом дергал его за усы.

– Унесите ребенка, – распорядился Омар, доставая из сумки инструменты.

Тюркский дядька взял мальчишку на руки.

– Зачем? – воспротивился Мохамед. – Пусть остается. Он тюрк. Пусть привыкает...

Ничего уже тюркского внешне ни у отца, ни у сына не сохранилось. Разве что в рисунке глаз отдаленным намеком удержался еле заметный восточный разрез. Впрочем, тюрки, в массе своей, никогда и не были чисто алтайским народом. В их алтайскую кровь с древних скифских времен и позже, в эпоху согдийских переселений в Кашгар, примешалась европейско-индийская кровь восточной ветви иранских племен.

– Ладно... – Омар завернул султану рукав. – Если б государь дозволил, – вздохнул Омар, – я бы осмелился сделать несколько замечаний относительно его образа жизни.

– Делай, – разрешил государь.

– Вино, конечно, полезно, – я сам всю жизнь был его сторонником, из-за чего претерпел немало неприятностей, но полезно оно отнюдь не всякому. При ваших горячности и полнокровии надо бы пить его чуть поменьше. То же и с питанием. Вы едите много жирного мяса. Это вредно для вас. Переходите на фрукты и овощи.

– Что вредно для персов, полезно для тюрков, – возразил султан высокомерно. – Траву у нас едят бараны. Мы – баранов едим.

– Как знаете. Мое дело – сказать. Я врач. Что вредно, то вредно. Вредно сидеть безвылазно в этой сторожке. Вам следует чаще бывать на свежем воздухе. Перед воротами Исфахана – уютная степь Деште-Гур. Она, наверно, сейчас вся в тюльпанах...

– А хашишины? – испугался султан.

– Ну, с таким могучим, преданным войском, как ваше...

– Я никому не верю! – взвизгнул султан.

Омар взял повелителя за руку, окунул ланцет в чашу с чистым вином. И уронил его...

– Не могу, государь, – сказал он глухо. – Я не вижу. От упорных занятий последнего времени у меня совсем ослабло зрение. Боюсь поранить...

Он видел! Не видел он того, что находилось прямо перед глазами, а на расстоянии вытянутой руки он видел все достаточно хорошо. Каждую вену, каждую жилку. Каждую складку на ладони султана...

Омар не выносил вида крови. Вот в чем дело. Это началось с тех пор, как Светозар убил в Нишапуре визиря Абуль-Фатха Дехестани. Вернее, гораздо раньше, в детстве, когда туркмен Ораз зарезал их работника Ахмеда. Но до времени терпел. Теперь, когда ему перевалило за пятьдесят, вид крови стал внушать ему страх и отвращение...

– Не могу, государь. Боюсь поранить. Пусть лучше позовут вашего брадобрея.

– Сумеет ли он? – спросил огорченный султан.

– Сумеет. Любой брадобрей это умеет.

– Хорошо. Но ты – наблюдай! Глаз не спускай.

Омар отвернулся. Зато за действиями брадобрея с интересом следил визирь Сад аль-Мульк...

Снаружи уже давно слышалась какая-то недобрая возня. Шум нарастал; доносились собачий визг и лай, возбужденные голоса людей.

У Омара уши похолодели.

– Выйду, взгляну, что происходит.

– Э, воины устроили собачью драку, – беспечно сказал брадобрей.

– Чей-то пес там отличается. Лихой. Один загрыз шестерых...

В цветнике, превращенном в пустырь, с рычаньем, воем и лаем копошилась стая огромных степных волкодавов. Азарт зрителей:

– Так его!

– Ату его!

– За глотку, за глотку!

Давешний воин, молодой туркмен, широко улыбнулся Омару:

– Мы поспорили на вашего пса: сколько противников он одолеет. Славный пес! Три своры спустили на него. Отбивается...

Омар вырвал у дурака копье, кинулся в гущу кровавой свалки.

Возмущенные крики:

– Эй, не мешай!

– Не порть забаву...

Собаки, свирепо огрызаясь, разбежались.

Басар, весь окровавленный, с разорванной глоткой, захрипел при виде хозяина, пополз к нему. В угасающих глазах – упрек. Он задрожал от бессилия. Дрожь перешла в судорожные рывки от ушей до хвоста. Скорчился пес, будто чьи-то железные руки скрутили его, и затих.

– Твоя собака? – К Омару вышел султан, бледный после кровопускания.

– Моя. – Омар страдальчески сморщил лоб, потер его тыльной стороной руки. – В поединке честном не было равных Басару. Ни волки его не могли одолеть, ни убийцы ночные, – свои собаки загрызли. Из любопытства...

– Стая, – понуро сказал султан. Он с тоской взглянул Омару в глаза. – Кто одолеет стаю?

Омар, стиснув зубы, взял Басара на руки, взошел на огромную кучу прошлогодней прелой листвы. И положил собаку на самой верхушке этой унылой «Башни молчания».

– Клюйте, вороны! Серые и черные...

Между тем Ахмед Атташ, отдохнув, с любопытством обходил передний двор Шахдиза, узкий, глубокий, точно бассейн, четко вырубленный в скалах для сбора дождевой воды. Двор

отсечен от внутренней, главной части крепости еще одной стеной, не такой, может быть, громоздкой, как внешняя, но достаточно высокой и крепкой, чтобы в страхе остоленеть перед нею.

Попасть на передний двор еще не значит проникнуть в крепость. Нужно пройти еще одни ворота с железной решеткой, у ворот же – стража. Но в любой, самой неприступной с виду, твердыне есть лазейка – сквозь человеческое сердце...

Ахмед, прогуливаясь, мало-помалу приближался к воину, мечтательно оцепеневшему у внутренних ворот.

– Не подходи, – нахмурился охранник с коротким копьём для метания и большим ярко раскрашенным щитом.

– Дейлемит?

– С караульным нельзя разговаривать!

– По узору на чулках я вижу, что ты дейлемит.

Суровый взгляд охранника смягчился.

– Я бывал в Дейлеме, – продолжал Атташ дружелюбно. – Прекрасное место! Особенно – долина Аламута...

Страж снова насупился.

– Скучно у вас! – вздохнул Атташ. – Освободишься – приходи ко мне. Поговорим о ваших краях. Хорошо там сейчас! Весна. Женщины пахут влажную землю. Ведь у вас, дейлемитов, земледелие – занятие женское, верно? Мужчины – воины. Хлеб свой они уже который век добывают службой в наемных войсках. Потому ты и здесь. Кстати, один из моих работников – твой земляк.

Охранник скупо улыбнулся...

Достойный памятник

Явдат Ильясов, автор нескольких хороших повестей из истории народов Средней Азии, взялся за сложную и трудную тему.

Писать о Хайяме сложно не только потому, что великий ученый и незаурядный поэт жил в очень сложное историческое время, но и потому, что по оставленным им научным и художественным произведениям трудно представить его самого, выписать его облик. Впервые попытавшийся это сделать по его четверостишиям русский ученый академик В. Жуковский писал о нем следующее: «Он вольнодумец, разрушитель веры; он безбожник и материалист; он насмешник над мистицизмом и пантеист; он правоверующий мусульманин, точный философ, острый наблюдатель, ученый; он – гуляка, развратник, ханжа и лицемер. Он не просто богохульник, а воплощенное отрицание положительной религии и всякой нравственной веры; он мягкая натура, преданная более созерцанию божественных вещей, чем жизненным наслаждениям; он скептик-эпикурец, он – персидский Абу-аль-Ала, Вольтер, Гейне.

Можно ли, в самом деле, представить, – продолжает Жуковский, – человека, если только он не нравственный урод, в котором могли бы совмещаться и уживаться такая смесь и пестрота убеждений, противоположных склонностей и направлений, высоких доблестей и низменных страстей, мучительных сомнений и колебаний?»²

Французский ученый, переводчик его четверостиший, Ж. Б. Никола писал:

«Хайям, по природе нежный и скромный, предавался больше божественным созерцаниям, чем радостям светской жизни. Эта склонность к божественным размышлениям, а также метод изучения, делали из него мистического поэта, философа, одновременно

² В. Жуковский. Омар Хайям и странствующие четверостишия. 1897, с. 320.

скептика и фаталиста – одним словом, суфия, подобно большей части восточных поэтов»³.

Писать о Хайяме трудно, и трудность эта усугубляется тем, что о нем создано много научных и художественных произведений, как об одном из самых популярных поэтов мира. На различных языках написаны повести, романы, поэмы, драматические произведения, созданы кинофильмы, просто жизнеописания, научные исследования.

Образ Хайяма в них выписан совершенно по-разному, потому что в четверостишиях, приписываемых Хайяму, много противоречий. Кроме того, толкование произведений Хайяма во многом зависит от мироощущения и мировоззрения авторов. Одни воспринимают рубаи Хайяма как гимн человеческой свободе, воспевание радостей земной жизни, другие толкуют их как выражение мистической любви к абсолютному божеству, суфийское обращение к богу, третьи – вместе с его идейными противниками – превращают его в вульгарного проповедника пьянства и разврата, в гедониста и скептика, являющегося отдаленным предшественником буржуазной декадентской поэзии.

Современная истинная наука опровергает и то и другое. Она утверждает, что Хайям не был ни суфием, ни правоверным мусульманином, но также не был ни гедонистом, ни скептиком. Он любил земную жизнь, стремился глубже ее понять и поставить науку на службу человеку, побольше взять у жизни, побольше наслаждаться ее благами.

Этическим идеалом его была личность вольная, свободомыслящая, чистой души философствующий человек. Главные черты этого человека – мудрость, любовь, жизнелюбие и бодрость. Эти качества неустанно на разный лад и воспеваются Хайямом в своих четверостишиях. Часто прибегая к образу вина, он превращает его в яркий символ жизнелюбия и веселья, в тайный язык жизнелюбов или же в стрелу, ранящую в самое сердце ханжей – духовенство, фанатиков и суфиев-мистиков. Он пьет, но это воспринимается читателем как протест против существующих в мире порядков, против властей, против всех видов духовного и физического угнетения, против бога, против своей эпохи, что собственно так и было.

Первое и главное достоинство автора «Заклинателя змей» и «Башни молчания» в том, что он правильно разобрался в сложной душе великого Хайяма и сумел показать его ярко и убедительно.

Конечно, ильясовский Хайям не живет без вина и красоток, но это отнюдь, во-первых, не цель его жизни, во-вторых, его отношение к ним совершенно не то, чтобы можно было его упрекнуть в нечистоте намерений, в подлости души или хотя бы в склонности к пустым забавам или низменным чувствам. Он, наоборот, как странная и исключительная для своего века личность, пьет, но не одобряет вино: если привязывается к девушке, даже падшей, то привязывается к ней всем сердцем, высокими помыслами, чистой любовью и остается верен до конца дней своих этой любви (Как, например, к Ферузэ, Рейхан, Экдес) или же брезгливо отвергает их – Туркан Хатун, Сорейю.

И очень убедительно звучат слова в устах поэта: «Если кто-нибудь через сто или тысячу лет назовет меня беспечным гулякой, поэтом пьянчуг, пусть знает: я плюю ему в глаза! Отсюда, вот с этого места. Попадись он в наше время, посмотрели бы мы, что из него получилось».

Эти слова, вложенные в уста поэта писателем Явдатом Ильясовым, убедительны после описываемых в повестях событий и звучат в унисон со следующим четверостишием самого Хайяма:

Пусть пьяницей слыву, гулякой невозможным,
Огнепоклонником, язычником, безбожным –
Я верен лишь себе, не придаю цены
Всем этим прозвищам – пусть правильным,

³ Ж. Б. Никола. Четверостишия Хайяма. Париж, 1867, с. 37.

пусть ложным.

Один из художественных исследователей Хайяма художник-чеканщик Вячеслав Сидоренко создал серию чеканных работ на темы четверостиший Хайяма, которые назвал созвездием.

В центре созвездия гигантская фигура – символическое изображение Омара Хайяма.

Мощная корневая система намертво связала человека с землей, нижняя часть его тела одеревенела и стала похожей на корявый ствол могучего дерева.

Человек зажат в узком пространстве, и тем сильнее мы ощущаем тяжкий гнет его жизненных обстоятельств.

Но, неукротимый, он тянется вверх, к звезде, стремится к ней на крыльях своей мечты, невзирая ни на что.

И если дотянется, обязательно подарит ее людям.

Сколько звезд-жемчужин подарил человечеству Хайям! Он мечтает и стремится к самому главному – к торжеству справедливости, к счастью людей на земле, при земной жизни, к самому заветному.

Когда б я властен был над этим небом злым,
Я б сокрушил его и заменил другим.
Чтоб не было преград стремленьям благородным
И человек мог жить, тоскою не томим.

В повестях Я. Ильясова четверостишия поэта рождаются в жизненных ситуациях.

Суровая жизнь...

Суровый холст...

Чеканные композиции...

И каждое из рубаи не похоже на другое, в каждом – вымученный, выношенный тяжко кусочек жизни Хайяма...

Жизнь человека, его – да и не только его – эпохи.

Проблема «время и Хайям» решена писателем верно. Ильясовский Хайям не правоверный мусульманин, но и не мистик. Его Хайям – оптимист и гуманист, желающий в чем-то сколько-нибудь опередить свое время.

Писателем проделана огромная работа по изучению окружения Хайяма, его эпохи, различных религиозных толков и философских течений и не только это, но и уровня развития точных наук – математики, астрономии и так далее. Писатель очень умело, иногда одним штрихом, показывает целые течения, проблемы эпохи. От этого книга становится очень познавательной и приобретает, я бы сказал, двойную глубину, одну – для массового читателя, другую – для просвещенного в этих вопросах читателя или специалиста – историка, филолога-востоковеда.

Так, например, вводя в действие шейха Аламута Хасана Сабаха и его исмаилитов, он ничего не разъясняет про них, и вначале для читателя как будто непонятны их цели, учение. Описанием этих подробностей писатель снизил бы художественный уровень повестей, увел бы читателя в сторону. Но специалист, читая строки об этих событиях, конечно, понимает их глубже, и получается, что Книга для массового читателя интересна, а для осведомленного – вдвойне интереснее, потому что все исторические личности знакомы сведущему в области истории Востока, они оживают под талантливым пером и надолго запоминаются.

Книга написана талантливо, хорошим сочным русским языком, в меру с восточным налетом, писатель не увлекается экзотикой, однако в манере изложения достаточно и к месту пользуется восточной манерой.

Автор повестей – в меру и к месту – вводит в текст цитаты из исторических и научных сочинений различных восточных и западных авторов.

Особенно уместно он вставляет четверостишия самого Омара Хайяма.

По правде говоря, у меня тоже когда-то была мечта написать что-то художественное о Хайяме. Когда я в 1966 году написал книгу о жизни и творчестве Хайяма, некоторое время меня не покидала мысль о том, чтобы написать книгу и показать в ней рождение если не каждого, то хотя бы отдельных рубай в зависимости от жизненных ситуаций. И эта заветная мечта исполнилась. Ее мастерски воплотил Явдат Ильясов, и я очень этому рад.

Думаю, что эта книга будет достойным памятником классика мировой литературы и науки Омару Хайяму, непревзойденные четверостишия которого пронесли через века передовые антиклерикальные, гуманистические и материалистические идеи, не говоря уже о его замечательных научных открытиях, сыгравших важную роль в развитии мировой научной мысли.

Этими повестями Явдат Ильясов поставил памятник не только Омару Хайяму, но и себе. Он хотел создать трилогию о Хайяме и горячо приступил к работе над второй повестью, которую назвал «Башней молчания». Однако, к великому сожалению, она осталась не законченной. Смерть оборвала жизнь писателя в самом расцвете его творческих сил.

Здесь, наверное, уместно сказать несколько слов о Явдате Хасановиче Ильясове.

Родился он в 1929 году в селе Исламбахты Ермакеевского района Башкирской АССР. Учился в педагогическом и художественном училищах. Работал учителем, в редакции газеты «Комсомолец Узбекистана», заведовал отделом поэзии в журнале «Звезда Востока».

С 1949 года начали появляться в печати стихи и рассказы Я. Ильясова.

В 1956 году вышла первая повесть «Тропа гнева». Это определило место его в литературе как автора исторических произведений.

Его книги «Согдиана», «Стрела и солнце», «Пятнистая смерть», «Черная вдова», «Золотой истукан», «Месть Анахиты» были тепло встречены читателями, высоко оценены литературной критикой. Он сумел в своих произведениях рассказать о далеких временах, создать образы сильных, честных людей, которые шли на подвиг во имя счастья своего народа, своей родины.

Эти книги далеко вышли за пределы республики. Их читают во всех уголках нашей великой многонациональной страны.

Большим успехом пользовался фильм «Канатоходцы», поставленный по сценарию Явдата Ильясова.

Он плодотворно работал в области художественного перевода, перевел на русский язык произведения узбекских, татарских, каракалпакских поэтов и прозаиков, внося посильный вклад в развитие общей советской многонациональной литературы.

Особое место занимают в творчестве Явдата Ильясова его повести о великом классике мировой литературы, поэте и ученом Омаре Хайяме. Это «Заклинатель змей» и «Башня молчания», которые вошли в данную книгу.

Повесть «Заклинатель змей» переведена на многие языки народов нашей страны и за рубежом.

Книга «Башня молчания» осталась не законченной, но и в таком виде она захватывает читателя, как и другие его произведения, постановкой морально-этических проблем, вечных для человечества, и заставляет задуматься над многими проблемами современности.

*Шаислам Шамухамедов,
доктор исторических наук,
лауреат международной премии имени Фердоуси*